

P-93

182652.

024

НАТАН РЫБАК

Друзья
с нами

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

1944



НАТАН РЫБАК

Оружие
с нами

РОМАН

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОД
С УКРАИНСКОГО
БОРИСА ТУРГАНОВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1944

О Г Л А В Л Е Н И Е

Пролог	3
------------------	---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая. Семафор открыт	7
Глава вторая. Киев в июне	10
Глава третья. Эшелоны идут на восток	17
Глава четвертая. Затишье перед бурей	21
Глава пятая. Доктор Евгения Высокий	25
Глава шестая. Встреча в Броварском лесу	32
Глава седьмая. Город Н.	40
Глава восьмая. Читатель вместе с автором возвращается в прошлое	54
Глава девятая. Оружие с нами, товарищи!	62
Глава десятая. Будни	70
Глава одиннадцатая. О чем пел курай	75
Глава двенадцатая. Гапс Кленфенцаль любит Тараса Шевченко	80

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава тринадцатая. Письмо из госпиталя	89
Глава четырнадцатая. Петр Иванченко про- таптыкает себе дорожку	99
Глава пятнадцатая. Смерть стоит у изголовья	110
Глава шестнадцатая. Встреча желательная, но непредвиденная	120
Глава семнадцатая. «Любите її во время люте!»	126
Глава восемнадцатая. Ощущение победы	133
Глава девятнадцатая. Профессор Бухштадт продолжает частную практику на новом месте	142
Глава двадцатая. Краткая справка о порт- феле желтой кожи	149
Глава двадцать первая. Яблоко и яблоня	152
Вместо эпилога. Так творится дума	157

Редактор Б. Е в г е н ь е в

Подписано к печати 25/IX 1944 г. А11269. 10 печ. л.
9,1 уч.-изд. л. 36 000 зн. в печ. л. Тираж 15 000. Зак. 944.
Цена 7 руб.

Ф-ка юнош. книги изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Москва, ул. Фридриха Энгельса, 46.



Пролог

В четыре часа десять минут сотни «Юнкерсов» зловещими коршунами, прячась за тучи, пересекают советскую границу. Спокойно спит утомленный дневным трудом Киев. Дремлет Полтава под шатром синего неба. Отдыхает гигант-Ленинград. Прислушивается сквозь чуткий сон к плеску волн Черноморья могучая крепость — Севастополь. Среди озер, садов, в беленьких хатах крепко уснули колхозники Чапаевки. Смертельный груз вражеских самолетов падает на города, дороги, села, широкие поля в золотых хлебах. Вспышки огня поднимаются к небу.

...Граф фон-дер-Шуленбург, полномочный министр и чрезвычайный посол Германии в СССР, в пять часов тридцать минут по московскому времени входит в кабинет народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова. Московское утро встает за просторными окнами, предвещая прекрасный день. Взгляд народного комиссара покоен и ясен. Он молча переворачивает стра-

ницы ноты, в которой Германия объявляет войну, после того как сотни бомбардировщиков воровски сбросили бомбы на мирные города и села, после того как полевые войска на пространстве от Белого до Черного моря нарушили советский рубеж.

Между полномочным послом и народным комиссаром только пространство широкого письменного стола. Тишина. Молчание.

Между народным комиссаром и полномочным послом — пропасть войны, разрывы снарядов, скрежет танков, отчаянный бой не на жизнь, а на смерть.

Граф фон-дер-Шуленбург не выдерживает взгляда народного комиссара. Граф Шуленбург прячет коричневые огоньки зрачков под набухшими веками. Народный комиссар легким, еле заметным кивком головы дает понять, что аудиенция окончена.

Шуленбург выходит из кабинета, стараясь высоко держать голову. Шаги тонут в мягком ковре. Кажется, все как полагается. Все по инструкции. Можно выпятить грудь. Но плечи полномочного министра невольногибаются...

Лицо фон-Шуленбурга старческое, помятое; свинцовые подковки век скрывают лихорадочный блеск глаз.

Ночь. Июнь. Пора удушливого цветения. Земля набухает животворными соками. Звезды срываются с высоты. В Австралии, над Мельбурном, проносится огненный хвост кометы. Под Новороссийском бушует свирепый норд-ост. В Караибском море идет на дно подорванный британской торпедой немецкий транспорт. В маленьком городке Славуте на дом пионеров «Юнкерс» сбрасывает две фугасные бомбы весом в тысячу килограммов. В Германии к микрофону, установленному в добрых ста метрах под землей, подходит маньяк, на котором лежит тавро проклятия миллионов обесчещенных и замученных людей. Брызгая слюной, размахивая руками, глотая собственную злость, маньяк провозглашает в эфир крестовый поход на Восток.

Ночь кончается над Старым Светом. Ночь раскидывает свои крылья над Америкой. На Дальнем Востоке возникают бархатные тени июньского вечера. На Украине светает. Горизонт покрывается бронзой солнца. На поросшее хлебами поле под Борисполем, прямо в высокую

рожь, с самолета падают два парашютиста. Они быстро срывают с себя парашюты, на них форма советских пограничников, а в карманах — немецкие пистолеты. Они сидят во ржи, притаившись, как суслики. Украдкой выглядывают: нет ли кого-нибудь в поле. За ржаным полем река, через реку железнодорожный мост, алеют стены станционного домика.

Утро. Щедрое и яркое солнце. Упругий, прозрачный воздух июня. Сегодня в Киеве десятки тысяч жителей готовятся к открытию нового стадиона. На Москва-реке сегодня объявлены парусные гонки. В Ленинграде — футбольный матч Таллин — Ленинград. В Риге сегодня олимпиада самодеятельного искусства. В Ашхабаде должен состояться традиционный турнир конников.

Все это не состоится.

Война.

Суровое, тревожное, холодное слово: «Война!»

Пограничники Перемышля, в количестве двух рот, сдерживают бешеный натиск мотопехотной дивизии. Крепость Брест стоит неприступной твердыней, и тысячи немецких солдат ложатся трупами вокруг нее. В Баренцовом море советская подводная лодка топит фашистский эсминец «Бавария» и два транспорта общим тоннажем в 35 тысяч тонн.

В Москве, в сердце Союза, в просторной комнате, у стола, покрытого картами, стоит человек в сером френче солдата. Уверенные движения, спокойные, мудрые слова. Весь мир обращает свои взгляды к далекой Москве. Весь мир ждет слова, которое раздастся из древнего Кремля.

Грозные советские бомбардировщики ложатся на боевой курс.

Их ведет, как звезда, безошибочно и ясно к цели имя — Сталин.

В шесть часов десять минут фашистский бомбардировщик сбрасывает четыре бомбы на разъезд Пост-Волынский. Бомбы ложатся за железнодорожным полотном, за зданием разъезда. Осколком ранит стрелочника Никиту Гарайчука. Истекая кровью, корчась от боли,

Гарайчук не забывает: через пять минут пройдет скорый пассажирский. Как в тумане, он шепчет:

— Скорый... шестнадцать вагонов. В каждом пассажиры... Один почтовый... Через пять минут.

Плывут минуты. Они кажутся Гарайчуку вечностью. Пересохшими губами он что-то шепчет и, пересиливая боль, ползет по шпалам к стрелке. Обессилевший болью, он на миг замирает. Припадает щекой к рельсу. Кровавый след тянется за ним по шпалам. Словно кто-то одним страшным ударом переломил в коленях ноги. Они чужие, ненужные. Они мешают добраться до стрелки. Но он доберется. Он доползет... Еще хотя бы минуту передышки. Крепче прижимается щекой к рельсу. Гарайчук слышит уже близкий шум поезда. Мелькает мысль: «Откуда бомбардировщик, что это и зачем? Поезд близко. Надо доползти».

— Надо! — кричит уже во весь голос Никита Гарайчук, точно этот крик придаст ему силы.

Стрелочник Никита Гарайчук доползает. Он переводит стрелку. Теперь покой, как желанный отдых, опускается на него. Все становится далеким, безразличным. Он лежит между рельсами на шпалах, широко раскрыв глаза, как бы любуясь глубоким синим небом, как бы высматривая вдали диковинных птиц, а мимо него по другому пути грохочет скорый поезд.

Вражеский бомбардировщик в бессильной злобе делает второй боевой заход на здание разъезда, но бомб уже нет, и тогда, снизившись до бреющего полета, он захлебывается от злости пулеметными очередями.

Он уже давно миновал станцию и готов набрать высоту, но в этот момент замечает на насыпи, у опушки леса, что-то красное.

Девочка в красном платье, девочка четырех лет, сидит на насыпи и удивленными глазами смотрит на странную птицу, так низко кружащуюся над полем.

Летчик разворачивается и, наклонив крыло, длинной пулеметной очередью расстреливает девочку.

Она лежит под кустом калины — красное пятнышко на бескрайном поле — и смотрит в синюю даль молчаливыми холодными глазами.

...Так начинается война!



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Семафор открыт

Паровоз закричал тоскливо и протяжно. Серое плечо семафора прыгнуло кверху. Но это было излишне. Уже стало опасно ехать дальше. Люди выскакивали из вагонов. С разбегу ложились под насыпью, а более проворные — скатывались в глубокий ров. Лежали, прижимаясь к земле. Солнце еще не высушило утренней росы, трава была душистая. Лязгали зенитные пулеметы. Земля словно раскалывалась. Землю рвало на куски.

Марк Емельянович Высокос стоял на тендере возле пулеметчиков. Пот градом катился со лба. Марк кусал губы и то и дело оглядывался. Окидывал зорким взглядом длинную цепь красных вагонов. Конца ее так и не видел. Он терялся где-то за лесом, и оттуда подымался черной полосой дым второго паровоза. Как раз с той стороны заходили на бомбежку немецкие «Юнкерсы». Но вдруг они круто свернули в сторону и начали набирать высоту. Прямо на них, будто рожденные самим небом, мчались красноезвездные «ястребки».

Один из пулеметчиков на тендере, русый паренек в сбитой набекрень пилотке, крикнул:

— Давай, браток, давай живее! Так их!

Он кричал что-то еще и хлопал в ладоши, и лицо его, минуту назад тревожное и суровое, теперь сияло от радости.

Высокос улыбнулся. Потом он вспоминал, что тоже кричал в эту минуту и, должно быть, был уверен, что пилоты на истребителях слышат его одобрительные возгласы.

— Теперь, товарищ директор, спасен твой завод! — рявкнул ему прямо в ухо парень в пилотке.

Паровоз загудел весело, коротко, объявляя конец тревоге. В эту минуту люди, подымаясь с земли, увидели, как в небе рассыпался на черные осколки один из «Юнкерсов», а два других изо всех сил старались оторваться от «ястребков». И люди кричали во весь голос, размахивали руками, уже забыв про смерть, которая зависла было над ними свою руку.

Поезд тронулся. Марк Емельянович стоял на тендере. Паровоз, казалось, надвое рассекал невидимую завесу степного ветра.

— Доведем завод, товарищ директор! — прокричал на ухо красноармеец.

— Доведем! — обрадованно подтвердил Высокос. — Доведем, товарищ боец, и скоро будем пушечки выпускать...

Он еще что-то хотел добавить, — хвастливое, как показалось ему, — но на него нахлынули другие мысли: тяжелые и невыносимые, и пальцы крепче стиснули скользкий стальной прут поручней. Перед прищуренными глазами пролетала по сторонам золотая степь, далекие очертания белых хат, и поднимался вдали знакомый зеленый город, памятный до боли в сердце своими крутыми склонами и разливом садов, — Киев.

В Полтаве он сошел с паровоза. Эшелон приняла на первый путь. Марк прошел в комнату начальника станции.

— Директор завода Высокос. — Он протянул руку седому человеку в красной шапке.

— Садитесь. Через пять минут я вас отправлю. Пейте. Холодная. Отдохните минутку.

Начальник станции говорил тихо, спокойно. Это понравилось Высокосу. Он жадно глотал холодный нарзан.

В комнате была приятная прохлада. Звенели телефоны. В окно Марк видел вагоны своего эшелона. Прямо перед окном стоял классный синий вагон дирекции. Возле него, посасывая трубку, прогуливался главный конструктор Сулак.

Внезапно Высокос почувствовал, как тяжелая усталость легла на его веки. Руки бессильно повисли на поручнях кресла. Начальник станции сочувственно перегнулся через стол.

— Устали? Что поделаешь, — вся страна едет, круглые сутки идут эшелоны на запад, на восток.

Он взглянул на часы:

— Вам пора отправляться.

Поднялся и, выходя из-за стола, сказал:

— Я вас понимаю, товарищ Высокос. После того, что было, трудно вам теперь. Но ведь вы едете на восток, чтобы начать все сначала...

Потом, у себя в купе, с наслаждением отдав усталое тело мягким подушкам дивана, Марк Емельянович словно страницы календаря переворачивал, — восстанавливал в память события этих дней, чувствуя, что эти воспоминания рождают в нем давно желанное равновесие.

Длинный эшелон шел на восток, с каждой минутой набирая скорость. Семафоры открывали ему путь. Летели невидимые, молниями, депеши. Диспетчеры отмечали на пункте своих сложных, только им понятных схем долгий и нелегкий путь эшелона, называя его уже привычно: «Завод на колесах».

А в пульманах, подвешенные на брусках, дрожали станки, звенела сталь и погромыхивал чугун, легко вибрировали аккуратно упакованные, заботливо обернутые ватой нежные детали и приборы. Вдоль рельсов, расклевывая степь, бежали села и города, проносились, мелькнув синим дымком покоя, домики разъездов. Из широких лугов душно пахло травами, и леса простирались до самого края неба, манили к себе таинственной тишиной.

В теплушках — это слово, забытое и, казалось, сданное в архив, снова возникло в дни июля 1941 года — шумела жизнь. Была она отлична от вчерашней и ничем не напоминала о той, что всего две недели назад отошла в прошлое. Кто громко высказывал свои взгляды на

войну, кто бранил железнодорожников за нераспорядительность, кто ругал немцев, а кто сидел молча, уставясь в раскрытые двери, зачарованным взглядом провожая проплывающие мимо поля...

Эшелон шел на восток.

Г Л А В А В Т О Р А Я

Киев в июне

В приемной секретаря Центрального Комитета партии Никиты Сергеевича Хрущева Высокос встретил много знакомых. Тут были директора заводов, наркомы, руководители трестов. Одним словом, «короли», как их шутливо называл Высокос. Он поудобнее уселся в кресле, закрыл глаза. Слушал приглушенный говор. Ему почему-то вспомнилось, как год назад он лежал в клинике. Тогда это было, должно быть, тяжелое забытие, навязанное болезнью. Над ним то нарастал, то удалялся от постели разноголосый гул. «Как будто и теперь кто-то болен, и врачи собрались на консилиум», подумал Высокос.

Ежеминутно звенели телефоны. Проворный помощник секретаря жонглировал трубками и коротко отвечал.

Высокос открыл глаза. Посмотрел в окно. За крутым зеленым откосом голубел Днепр. Ниже золотился песок Труханова острова. Над мостами сверкали серебром аэростаты воздушного заграждения. Высокос встал и подошел к окну. Перегнувшись через широкий подоконник, выглянул на площадь. В скверике играли дети. Дворник с противогазом через плечо подметал дорожки. Возле трамвайной остановки собирались мужчины, женщины, школьники. Лица их были обращены к черному раструбу громкоговорителя.

«— От Советского информбюро», — металлически-звонко прозвучали слова и сразу отозвались тревогой в душе.

В приемной зашевелились. Обступили окно.

«— В течение дня, — говорил диктор, — наши войска вели тяжелые оборонительные бои. Врагу удалось ценой огромных потерь продвинуться вперед. После жестоких боев наши части оставили Новоград-Волынский...»

— Товарищ Высокос, вас просят.

Высокос резко отвернулся от окна. В большом кабинете было необычайно тихо. Секретарь ЦК сидел за столом, чуть наклонив голову вперед, улыбаясь одними глазами. Если бы не его военная форма, если бы не слова, которые только что слышал Высокос из громкоговорителя, все выглядело бы, как обычно.

Высокос раскрыл маленький блокнот и хотел уж было рассказать о чуде, которого добились в конвейерном цехе за последние сутки. Он знал, что такие сообщения радовали секретаря ЦК. Но зазвенел телефон. Хрущев взял трубку. И сразу перед глазами Высокоса возникло другое лицо. Глаза, сузившись, смотрели в дальний угол кабинета; они, казалось, скрылись под надбровьем, а на лоб набежали ломаные борозды морщин. Серые тени усталости легли на лицо секретаря ЦК, и оно уже не улыбалось так, как минуту назад.

— Хорошо, — сказал он, заканчивая разговор, — через полчаса я буду на аэродроме. Хорошо.

Положил трубку и, сразу переходя на другое, проговорил:

— Так вот, товарищ Высокос, есть решение правительства...

Сердце у Марка Емельяновича замерло и сразу же забилось трепетно, тревожно, словно вспугнутая птица.

— Есть решение правительства, — повторил Хрущев, — ваш завод эвакуировать в глубокий тыл.

Рука Высокоса дрогнула. Вопросительный и тревожный взгляд его был красноречивее всяких слов. Он окаменел в кресле, ошеломленный неожиданным известием. В одно мгновение перед глазами прошли длинные шеренги красностенных корпусов завода, обширные площади, пересеченные рельсами, длинный сборочный цех, которым он гордился как собственным созданием.

Все это, словно мудрая, испытанная столетиями книга, было наполнено глубоким содержанием, все славил силу и изобретательность человеческой мысли. Он на какую-то минуту представил себе: останавливаются станки, застывает размеренный, ритмичный бег конвейера, выключается электрический ток, пустеют цехи. Тишь. Безлюдье. Над стеклянными крышами кружится воронье. В скверах перед заводом золотистый песок дорожек лежит непряматый. У контрольной будки нет никого. Кладбище...

Все это стало настолько реально ощутимым, что, только проведя ладонью по лбу, он заставил себя вернуться к действительности.

Никита Сергеевич посмотрел ему в глаза долгим, испытующим взглядом. Казалось, он чего-то ждет. Высокос не ошибся. Взгляд секретаря ЦК спрашивал: выдержишь, справишься ли? И, как бы встретив то, чего ожидал, Хрущев заметил:

— Понятно, дело нелегкое, а времени вам, чтобы сняться с места, — трое суток. Там, на новом месте, будет вам несладко. Это ясно. Но вы должны возобновить работу как можно скорее.

— Может быть, мне лично, — вставил Марк Емельянович, — лучше бы остаться тут, в армии... Ведь у меня кое-какой опыт.

Хрущев покачал головой.

— Нет. В этом нет нужды. Эта война не на месяц. Запомните это. Эта война — экзамен для нас, для всей страны. Труден путь, ведущий к победе. И там, где вы будете восстанавливать завод, вы должны чувствовать себя тоже, как на фронте. На вашу долю выпадут еще суровые бои. И помните всегда, каждую минуту, наш прекрасный Киев, наши степи, наши села, наши города, чтобы пушки ваши были еще более грозными. Трудные будут дни, товарищ Высокос. Приготовьтесь к ним и сохраните стойкость.

Что он мог ответить? Да и разве нужен был ответ? Марк Емельянович, попрощавшись, вышел из кабинета, сохраняя в сердце какое-то новое, теплое чувство. Назвать это чувство он не смог бы ни в эту минуту, ни позже, но именно оно подкрепляло его в трудные дни тревог и неудач и именно оно превращало сердце в кремень и придавало несгибаемую твердость стремлению двигаться вперед.

Из ЦК Высокос поехал в Совнарком, из Совнаркома — в управление дороги, потом вернулся на завод. Прежде чем пройти в дирекцию, он пошел по цехам, неторопливо, заглядывая в каждый уголок. Остановится подле станков, вслушается в ритмический шорох пасов, в монотонное жужжание, напоминающее разбуженный пчелиный рой. Приветливо улыбаясь, здоровается с рабочими, с мастерами. Но никто не нарушает его задумчивости, никто не останавливает, не обращается с во-

просом. И директор завода, сосредоточенный, погруженный в какие-то, одному ему известные, заботы, идет по цехам спокойными, ровными шагами, расправив плечи, стройный, высокий, в широком сером костюме, с кепкой в руке. Ветер шевелит седые волосы, расчесанные на ровный пробор, а глаза под нависшими бровями смотрят испытующе, пристально.

Ускорив шаги, он проходит в конвейерный цех. Электрические часы показывают четверть двенадцатого. Собственно, пора уже быть в заводууправлении. Но ему хочется побыть еще двадцать-тридцать минут в цехах. Наконец он может себе позволить это!

Ворота конвейерного цеха выходят на широкую площадь. Среди газонов и цветников большой фонтан подбрасывает к солнцу сверкающие, как клинки, струи воды.

Марк Емельянович, подчинясь внезапному желанию, опускается на скамью перед фонтаном. Из окон цеха на него удивленно поглядывает сменный мастер Качуровский. Проходит мимо пожарный в каске и отдает честь. Торопливо идет по дорожке к заводууправлению почтальон Катя, девушка в синей фуражке, со скрещенными молниями на рукаве форменки. Из заводууправления его тоже заметили.

Он сидит, опустив голову. За спиной грозно ревут моторы. Прямо перед ним слабо шелестят струйки воды. Он сидит, погруженный в тяжелые, бесконечные мысли...

И память рисует давние образы, выносит его на простор юношеских лет, на крутые берега Днепра, в зеленую весну 1918 года, в широкие днепровские плавни, сажает в седло, и он мчится на коне, с саблей в руке, слышит голоса побратимов и видит сизую гладь реки и манящую даль лимана. Потоптанная войной, сочная и плодovitая земля шлет ему в лицо запахи, рожденные весной.

...Он слышит голос отца на перекопском валу в холодную осеннюю ночь, слышит, как храпят кони и люди, одинаково натужно и безнадежно. А отец, раненый, обливаясь кровью, лежит на мерзлой земле, и глаза у отца сухие, огнистые, а губы искривлены болью, и в углах губ пузырьками набегают кровь. Гроном ору-

диной канонады расколота ночь. Дождь сечет землю, и ветер, соленый ветер близкого моря, не дает дышать. Он заплакал, когда отец сказал:

— Это конец, сын.

А потом отец еще поднялся на локте и крикнул стоявшим вокруг:

— Ни шагу назад! Вперед, только вперед! Ленин...

Отец сделал движение, точно хотел встать, но, побежденный смертью, упал ничком, выбросив вперед руки...

В ту ночь дивизия Емельяна Высокоса пошла вперед и выбила врага из окопов. А Марк, как безумный, носился верхом. Играл со смертью и победил ее...

Вспомнил он, как после боя его позвал Фрунзе. Он явился к командующему продымленный и мокрый, прямо из боя, и дрожащей рукой, только что державшей саблю, отдал честь. Фрунзе потирал колено и смотрел ему прямо в глаза. И тогда Марк не выдержал, заплакал, стыдясь слез, закрыв глаза ладонью.

— Плачь, — сказал Фрунзе, подходя к нему; остановился и обнял его за плечи. — Плачь, сынок. Но знай, жизнь наша такая — либо мы им свернем шею, либо они нам...

Еще вспомнилось... Осень 1927 года... Ночь... Тысячи пудов аммонала поднимают вековые скалы с днепровского дна. Исчезают под водой Ненасытец, Звонковой, Кайдак, Дед, Песковатый...

Спустя еще немного месяцев заиграл золотом Днепрогэс... И он стоит на трибуне, рядом с Калининым и Серго Орджоникидзе. А снизу смотрит ему в глаза гордо и радостно Женя.

...Сидит Высокос на скамейке в заводском сквере и перебирает в памяти давние дни и дела: всю жизнь, богатую подъемами и падениями, юность, бои, любовь и страдания, шумные и радостные дни института, скитания по Америке, завод-исполн, который он построил и которым управлял, — все давнее и близкое...

В заводууправлении, в своем кабинете он сидит за столом спокойный, уравновешенный. Отдает распоряжения, выслушивает инженеров, мастеров. Ничто не выдает его волнения, когда он на вечернем совещании совета дирекции объявляет о свертывании производства и эвакуации.

В два часа ночи он возвращается домой. Затемненные улицы напоминают катакомбы. Он ставит машину под ворота, запирает на ключ.

Дверь открывает жена. Он еще не нажал кнопку звонка, а она уже на пороге. Берет его за руку, как ребенка, и ведет по темному длинному коридору.

Свет в столовой после уличной темноты кажется особенно ярким. Жена сидит против него и смотрит, как он пьет маленькими глотками крепкий, душистый кофе, дымящийся в низенькой чашке. Он пьет, исподлобья поглядывая на строгое лицо жены, на ровный, высокий лоб, смотрит на ее руки, скрещенные под подбородком, и, отодвинув недопитый кофе, говорит:

— Так вот, Евгения Кирилловна, через три дня наш завод покидает Киев.

Она молчит, но он видит — беспокойно теребят скатерть ее пальцы. Он переводит взгляд в угол, где стоит радиола, быстро подходит к ней и включает ток. В тихую комнату внезапно врывается бешеный шум Европы, захлебывающейся новостями и тревогами. А он и не слушает, он искоса следит за Евгенией, видит, как меняется ее лицо, и, когда их глаза встречаются, он читает в ее взгляде что-то такое, что заставляет его сразу подойти к ней, положить руки на плечи и сказать тихо:

— Ты такая умница, Женя. Спасибо...

Погасив свет в комнате, они выходят на балкон и садятся рядом в соломенных креслах. Перед ними лежат громады темных кварталов. Синее небо июня раскинуло над Киевом звездный шатер. Легкий ветер с Днепра шуршит в кустах под балконом и клонит вершины тополей. Листва шелестит ровно, спокойно, таинственно.

Они сидят молча, взявшись за руки, взволнованными сердцами воспринимая ночь.

И когда протяжный вой сирены разрывает тишину июньской ночи, объявляя воздушную тревогу, они продолжают сидеть неподвижно, только крепче сплетаются их пальцы. И напрасно звонит телефон, напрасно дежурный по дому силится разбудить, видно, крепко заснувших обитателей квартиры № 6 на третьем этаже.

На западе прожекторы скрещиваются и расходятся и чертят небо, точно выжигают длинные дорожки на си-

нём ковре его, а город лежит суровый, готовый к бою, — прекрасный и любимый Киев.

А когда смолкают сирены, когда гаснут прожекторы и звезды и восток окрашивается светом нового дня, они все еще сидят на балконе, сплетя руки, встречая зарю. Они молчат, но все продумано, все сказано этим молчанием в короткую ночь, полную тревог и воспоминаний.

С первым лучом солнца вопрос, полный жгучей боли, срывается с уст Евгении:

— Как ты думаешь, Марк, они могут притти сюда?

— Конечно, они приложат все силы, — отвечает он, глядя, как в солнечных лучах золотится шпиль на куполе музея Ленина.

— Сколько будет горя, слез, мучений, — продолжает Евгения. — Если бы наш Игорь был с нами...

Высокос знает: Женя давно думает об Игоре. Он видит перед собой юношески-задорное лицо сына. Вспоминает, как всего месяц назад он сидел с ним здесь, на балконе, гордый своей морской формой; теперь он в далекой Одессе. Что же, он хотел быть мореплавателем. Море открыто теперь перед ним. «Держись, Игорь, держись, сыночек», думает Марк Высокос. Острая боль внезапно пронизывает его сердце.

Он смотрит на милые плечи Жени, на прядь ее волос над затылком, и ему хочется напомнить ей тот день, когда он впервые взял на руки маленького сына. Но вместо этого Евгения слышит его ровные, спокойные слова:

— Еще долго будут страдать люди. Но я верю в победу, а не в поражение, в жизнь, а не в смерть. Это все, что я знаю пока, Женя.

Она вздыхает, высвобождает руку, согретую теплом руки мужа, встает с кресла и подходит к перилам балкона. Не поворачивая головы, она отвечает:

— Я — тоже. И потому я вчера дала согласие в случае надобности остаться тут...

Она не видела, как вздрогнул Высокос. Когда она оглянулась, он глядел на нее открыто и ясно, только лицо у него было серое и измученное и темные тени лежали под глазами.

Эшелоны идут на восток

За окнами вагона пролетала степь. Навстречу мчались длинные цепи вагонов с красноармейцами, бесконечные эшелоны танков, орудий, запломбированные серые вагоны с надписью: «Осторожно, опасно!», черные сальные бензоцистерны, платформы, груженные колючей проволокой, шпалами, рельсами, походными кухнями. Казалось, никогда еще земля не знала такого движения, таких тяжестей, такой силы.

Уже давно был позади Харьков; давно миновали Белгород. Бревенчатые избы пришли на смену белостенным селам Украины. Чаше мелькали березовые рощи, и уже открылась глазам степная ширь Поволжья.

И всю дорогу, все дни и часы Марк Высокок проводил за работой в своем вагоне, окруженный инженерами и экономистами. Шли бесконечные совещания, обещания, споры.

Две машинистки поместились в коридоре. В одном купе устроились чертежники. Откуда-то неожиданно появился арифмометр и застрекотал в руках начальника планового отдела Цвинтарного.

Главный инженер Сулак, дородный, высокий, с обвисшими, как он сам говорил, шевченковскими усами, колдовал над хрустящими листьями кальки. Причудливое сплетение линий и пунктирного бисера на них должно было означать будущие дехи и корпуса завода.

Конструктор Митрофан Мякишев, свежесвыбранный, в широкой пижаме, сидел на диване и разрабатывал проект размещения конвейерного цеха под открытым небом.

Так постепенно деловая атмосфера входила в свои права в вагоне дирекции. И Марк Емельянович, как бывало в заводууправлении, распоряжался, подгонял, выслушивал рапорты, на остановках ходил в вагоны к рабочим и их семьям. Здесь он вел долгие, неторопливые разговоры, выслушивал тревожные вопросы и давал ответы, стараясь поддержать в людях уверенность и бодрое настроение. А вернувшись в свое купе, он смотрел в окно и под равнодушный перестук колес бесконечно, мучительно думал об одном и том же...

Правда, он давно, еще в Киеве, перешагнул через самое важное препятствие. Теперь он знал, как действовать. Край, куда шли эшелоны с оборудованием завода, был совсем незнаком ему, но он до последней мелочи представлял себе все, что должно было произойти, и даже самый город, с коротким и по началу странно звучащим для слуха названием, — город, который только еще входил в историю, хотя уже и был отмечен в ней, как один из центров возникновения казацкой вольницы...

Он твердо знал: вот придут, выгрузятся, сначала будет несладко, как говорил Хрущев, но стиснут зубы, напрягут мускулы, и за городом, на окраине, которая пока что в документах носит беспредметное название «участок 2-бис», вырастет его завод, пушечный гигант; через короткое время над полем битвы загремят новые орудия. А если судьба улыбнется ему, может случиться и так, что его мечта, которую он вынашивал годами, плод бессонных ночей, станет добротной сталью и обрушится на головы немцев невиданным градом снарядов.

Война помешала... Еще бы год — и пушка, которой он отдал столько времени, со страниц его записей и листов кальки сошла бы в цехи. Но, может быть, война то и заставит поторопиться?

Он раскрывает маленький кожаный чемоданчик. Раскладывает записи и чертежи. Входит Сулак. Садится напротив. Тайна директора отчасти известна ему. Но он зашел просто поболтать. Поговорить о своем сыне-танкисте, о сыне Марка Емельяновича, о Евгении Кирилловиче, — она не поехала с первым эшелоном.

Марк Емельянович склонился над записями. Ну, что ж, Сулак не будет мешать. Он только посидит. Вот так, прислонившись к спинке дивана, посидит с закрытыми глазами. Чорт возьми, в конце концов он имеет право побыть со своим директором!

Война — тяжелая вещь. Да еще такая война! Теперь, когда его сын Иван на фронте, где-то под Житомиром, инженер Сулак очень одинок. Может быть, и хорошо, что жена сошла в могилу. А то теперь выплакала бы свои глаза!.. Впрочем, это еще не одиночество... Хорошо, что он с Высокосом. Высокос — человек первого сорта. С Высокосом их связали десять лет работы, десять лет борьбы. Их не вычеркнешь. Не забудешь. Правда, у директора свои недостатки. Слишком уж он рассу-

дочный, слишком сдержанный, но справедливость его и ум неоспоримы.

Сулак знает — Высокос ему верит и уважает его. Он его любит. Иначе разве прошлой осенью, на охоте в Летках, он сказал бы: «Отчего бы вам, Иваныч, в партию не вступить?»

Сулак думает: «Теперь я подам заявление».

Стучат колеса вагона... Человек строит свою жизнь, точно цепь кует. Крепкая цепь — перейдешь по ней любую пропасть, непрочная — порвется.

«Всяк молодец — своего счастья кузнец» — хорошая поговорка. Народ плохих поговорок не любит...

Вот Высокос — он знает народ. У него для каждого слово найдется. У Гарайчука несчастье — вся семья погибла. Никто не знает, как утешить его, чем помочь. Высокос вчера всю ночь напролет проговорил с ним. Сегодня у мастера глаза как будто посветлели...

Стучат колеса. Вздрагивает на стыках вагон. Тяжело, в такт подрагивает широкая фигура Сулака.

Марк Емельянович, покусывая кончик карандаша, думает,

В соседнем купе инженер Михайловский решает шахматную задачу.

— А, черт! — вдруг говорит он громко, — несесер забыл... Милочка! — кричит он жене, дремлющей на верхней полке с книжкой в руках. — Представь себе, несесер, тот, что куплен в Праге, не взял... и лезвия для бритвы, настоящий «жиллет» — тоже не взял...

Молодой конструктор Стецюк, поправляя помочи, смотрит на Михайловского и, не скрывая возмущения, говорит:

— Тут война, кровь, а у вас в голове несесер и лезвия. Эх, вы!..

В коридоре смеются.

— Молодой человек, — спокойно возражает Михайловский, — не вам учить меня. Война прежде всего любит порядок, точность, аккуратность. А у вас, смотрите, подтяжки держатся на трех пуговицах...

Конструктор Мякишев досадливо отворачивается к стене. Снова спорят. Вот повезло ему на соседей! Рассматривая ровно подстриженные ногти, он думает о чем-то своем, но в то же время ловит ухом все, что говорят внизу.

Стецюка нелегко усмирить. Он наступает на Михайловского. Он старается доказать, что поведение Михайловского недостойно патриота: в такое время скучать над шахматами, думать о бритвах, следить за пуговицами! Конечно, может быть, уважаемый инженер думает, что и там, в степном городе, их ожидают комфортабельные квартиры, кабинеты? Может быть, он надеется, что каждое утро «зис» будет сигнализировать у него под окном? Может, он так представляет себе завтрашний день? А каково тем, кто в окопах?..

И когда он с торжеством смолкает, возникает спокойный, чистого баритонального тембра голос Михайловского. Сначала идет длинное вступление об аккуратности и плановости, которое только смешит Стецюка. Но потом инженер, отбросив свою обычную сдержанность, вскакивает на ноги, размахивает перед носом Стецюка пальцем и кричит на все купе:

— Что вы знаете про окопы? А я в окопах лежал, молодой человек, четыре года лежал! Да. Я Перекоп брал, молодой человек. Да. А вы меня будете учить! Эх, вы!.. Нонсенс — вот кто вы. И точка.

Стецюк, побежденный, молчит. Милочка, свесив с полки голову, бормочет:

— Ссоритесь, а в Киеве война... Петухи...

Мякишев сжимает губы. Ему кажется, он лежит на узенькой доске, а под ним клокочет, бешено гонит волны река. Вот-вот он сорвется. Может быть, это сон?.. И вдруг сам дьявол, устами этой «психопатки», как называл он про себя жену Михайловского, обращается к нему с вопросом:

— Странно, Митрофан Игнатьевич, почему вы жену не взяли? Жену, детей оставил, — говорит Людмила Гавриловна Стецюку. — В такое время, подумайте!

Мякишев молчит, может быть всего с минуту. Но эта минута кажется ему дольше часа.

— Куда ее возьмешь? — говорит он наконец. — Не на пикник едем... А там как-нибудь проживут. В нашем доме неплохое бомбоубежище.

И, помолчав, добавляет в заключение — самое убедительное, что должно заставить замолчать:

— Товарищ Высокос тоже не взял жену...

...И снова тихо. Стрекогут в коридоре пишущие машинки. Постукивают колеса. Пролетает за окнами степь.

Инженер Митрофан Мякишев, помощник главного конструктора завода, пощипывая черную маленькую, ровно подстриженную бородку, с неприятным холодком в сердце думает о той минуте, когда он услышит властную и многозначительную фразу:

— Наши пути скрещиваются.

Он ответит:

— Конечно. Я тоже так думаю.

И услышит:

— Значит, мы единомышленники.

И скажет:

— Мысль оплодотворяет жизнь...

Тогда прозвучит, проникая в самую душу:

— Жизнь расцветет для вас астрой...

Широко раскрытыми глазами смотрит Мякишев в окно. Проплывают золотые поля пшеницы, залитые сиянием закатного солнца. Но он не видит этого. Он продолжает про себя таинственный диалог.

...Несколько лет назад в комнате заграничного отеля он под диктовку заучил эти слова. И ему представляется, как на углу улицы, или где-нибудь в столовой, или в темном закоулке произойдет встреча, которой он ждал и которой страшился.

Неумолимо разворачивались события. Неумолимость их угнетала и одновременно радовала Мякишева. Неумолимая сила вырвала миллионы людей из размеренного бега времени. Она же, эта сила, гнала на восток эшелоны Н-ского завода. Но над ней, этой силой, стояли люди.

Этого не учел Мякишев. Но это непоколебимо знал Марк Высокос.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Затишье перед бурей

Накануне Остап Гарайчук прямо с завода поехал в город. На углу Крещатика он с трудом вылез из переполненного троллейбуса, вошел в «Гастроном». Любезно поздоровавшись с знакомым продавцом, заказал разных закусок и несколько бутылок вина. Продавец одобрительно улыбнулся. Видно, товарищ завтра собирается за город? Прекрасная идея. В прошлое воскресенье он тоже ездил на Десну. Отлич-

ная прогулка: выпили, закусили, купались, отдыхали, — словом, однодневный санаторий. Он даже загорел. Разве товарищ не замечает?

Довольный, что Остап Гарайчук похвалил его загар, продавец становится еще разговорчивее. Но это не мешает ему ловкими, привычными движениями резать сыр, ветчину, колбасы, молниеносно заворачивать в хрустящую желтую бумагу коробки шпрот и сардин. Перейдя к вину, он безошибочно угадывает намерения покупателя и сразу предлагает ему кахетинское номер восемь. Трех бутылок будет достаточно. Впрочем, следует добавить еще вот этот кругленький графинчик зубровки. Тонкий и обманчивый напиток! С видом знатока продавец подмигивает Гарайчуку и все свертки заворачивает в один большой пакет.

Расплатившись и поблагодарив продавца, Гарайчук с трудом протискивается к выходу и сворачивает на улицу Карла Маркса. В кондитерской, рядом с гостиницей «Континенталь», он покупает две коробки конфет и пирожные.

Теперь, кажется, все. Домой, отдохнуть немного, а там—на мотоцикл и к своим. Зной июньского дня спадает. Свежий ветерок пахнет Днепром. Весело хлещет по тротуарам вода из сверкающих медных брандспойтов в умелых руках дворников. По мостовой неторопливо проезжает поливочная машина, и за ее колесами стелется уже вымытый, празднично чистый асфальт. Люди на тротуарах замедляют шаги. Завтра воскресенье, можно не торопиться. Остап Гарайчук бессознательно поддается этому общему настроению.

Без всякой надобности он дважды проходит по Крещатику, задерживается перед красивыми витринами магазинов, читает рекламы на широких щитах. Десятки «зисов», «эмок», «шевроле» и низеньких разноцветных малолитражек снуют вдоль широкого русла Крещатики. Милиционеры на перекрестках, в белых кителях, в ослепительных перчатках, спокойно, с оттенком величия направляют бесконечный поток машин и пешеходов. Они как бы властвуют над этим безостановочным потоком, гордясь сознанием, что от одного взмаха их руки замирает цель машин, скрежещет, останавливается автобус и улицу пересекают пешеходы.

Настроение у Остапа Гарайчука хорошее. Причин для

этого несколько. Прежде всего — завтра утром он поедет на весь день к брату. Там гостят жена и Майка. Майке, кроме шоколадных конфет, он повезет новые книжки — рассказы Степана Васильченко и стихи Тычины. С братом Никитой они сходят на озеро, порыбачат, искупаются, а потом сварят чудесную уху... Вот тогда он и похвастает жене, брату, жене брата, что с этой субботы он уже помощник начальника сборочного цеха.

Он расскажет, как тепло, дружески разговаривал с директором завода. Директор Высокос долго расспрашивал его про Майку. Такой молчаливый, казалось бы, суровый человек, а как смеялся, услышав о проказах Майки!..

Погуляв по городу, Остап Гарайчук возвращается к себе на Печерск. В квартире он включает радио, открывает двери из комнаты в комнату, долго стоит под душем, а потом до красноты растирает прохладное тело жесткой простыней. Можно было бы сейчас одеться, зайти за приятелем, соседом по площадке, инженером Стецюком, и отправиться вместе на Днепр. Где-нибудь в ресторанчике полакомиться раками и холодным пивом. Но лучше хорошенько отдохнуть, чтобы на завтра быть свежим. Он решает — до четырех часов побудет в гостях, а потом возьмет жену и Майку и повезет их на открытие нового стадиона. Вот будет праздник для Майки!

Остап Гарайчук сидит на балконе. С высоты четвертого этажа весело наблюдать движение на улице. Бархатные тени вечера раскидываются над Печерском. Трамваи рассыпают веселый перезвон. Совсем недалеко, кажется где-то за спиной, уверенно и мощно дышит завод, с которым недавно расстался Гарайчук. Из садов доносятся звуки оркестра, а из глубины комнаты слышен голос диктора — он рассказывает про сельскохозяйственную выставку.

«Пора, пожалуй, лечь спать, — думает Остап Гарайчук, — вставать придется рано». Но спать ему не хочется. Он еще долго сидит на балконе, погруженный в свои мысли.

...Через несколько часов Остап Гарайчук, помощник начальника цеха киевского Н-ского завода, согнувшись над рулем мотоцикла, выезжает на шоссе, которое сквозь липовую аллею протянулось вплоть до небольшо-

го хутора, у опушки леса, возле Поста-Вольнского. Утренний резкий ветерок колышет рожь в полях, и за горизонтом, на западе, июньская ночь опускает синие паруса, а наступающий день клинками солнечных лучей рассекает завесу облаков. Внезапно над Остапом Гарайчуком раскалывается небо, и в лицо ему со страшной силой ударяет земля. И он, подхваченный вихрем, вылетает из седла мотоцикла и долго лежит в кустах, раскинув руки, потеряв сознание. В пятидесяти шагах от него захлебывается гневной скороговоркой мотор мотоцикла, и из желтого большого пакета льется на шоссе красное, густое, похожее на кровь вино...

Через полчаса Остап Гарайчук уже знает, что у него больше нет жены Настя, нет дочки Майки. Он сидит на земле, возле дома, который доглядывает огонь. Его окружила толпа людей. Там, в черном пекле пожарища, погибли Настя и жена Никиты. Майку принесли пастухи. Девочка, пронизанная десятком пуль, лежит на обгорелой траве.

Остап Гарайчук плачет. Слезы текут и текут, и сердце его сжалось так, что нет сил дышать...

Он не слышит, что ему говорят люди, и не видит ничего. Единственное, что воспринимает его разум, — это горе, большое, непоправимое. Оно обрушилось внезапно и оглушило, будто сломало ему прямые, крепкие плечи. Он знает, что надо встать, надо что-то делать, но не может...

Бомба с немецкого «Юнкерса» попала в центр хутора и сравняла с землей вишневым садик и две хаты. Стон, плач висят над хутором. То и дело люди со страхом смотрят на небо: оно высится над ними — нежно-голубое. Только далеко на западе сизым лебединым крылом плывет облачко, и растет, и ширится.

Через час Остап сидит в больнице, у постели брата. Оба они долго молчат. Пересохшие губы Никиты шевелятся, но слов не слышно. Окно, затянутое марлей, раскрыто в сад. В верхние стекла окна бьется шмель. Назойливо гудит.

— Самолет, — испуганно шепчет Никита. Остап успокаивает его. Братья смотрят в глаза друг другу и почти одновременно произносят:

— Война!..

— Война!..

И снова они молчат. В комнате тишина. Гнетущая тишина больницы.

Остап наклоняется над подушкой и целует брата в губы.

— Отомсти, — говорит Никита. — Слышишь, Остап? Отомсти!

...И вот все это уже далеко — за сотни километров, все это становится тем, что люди называют прошлым, точно в одном этом слове «прошлое» находят успокоение, утишающее боль.

Сидит Остап в вагоне, в одном из эшелонов, везущих завод в глубокий тыл. Давно отгудела под колесами привольная украинская земля, отмелькали в глазах бескрайные поля и понурые вербы над старыми прудами. Остался позади город, выросивший его, а колеса вагонов ненасытно глотают все новые километры, и Остап слушает их перестук и думает одну тяжелую, тревожную думу. Он не может простить себе, что послушался парторга, что дал Высокому уговорить себя. Нет, надо было остаться на фронте. Ничего, что ему отказали в военкомате. Надо было добиваться. Пойти к городскому военному комиссару. Пойти в обком партии. Они говорят, что, работая по специальности, он будет бить немцев в тылу. Неужели это так? Неужели это заменит ему живую гневную жажду — своими руками вонзить штык прямо в грудь этой хищной твари?

Жажда мести сушит сердце Остапа. Запах пожарища преследует его. Он слышит голос Никиты:

— Отомсти!..

Стучат колеса вагонов. Стелется путь на восток. Что ждет впереди?

ГЛАВА ПЯТАЯ

Доктор Евгения Высокая

Н и писем, ни телеграмм от Игоря не было. Когда Марк уехал, Евгения еще сильнее почувствовала свое одиночество. Она избегала оставаться дома одна. Домработница, старая бабка Ульяна, сложила свои вещи в сундучок, заперла, спрятала ключ за пазуху и сказала Евгении, что поедет на село к сестре попрощаться, а то, кто знает, как оно там будет. Нехитрыми словами, полными гнева и ненависти,

послала старая Ульяна проклятие Гитлеру со всем его отродьем.

Ульяна уехала. Евгения осталась одна в пяти комнатах. Конечно, она могла перелистывать книги, письма, перебирать фотографии, касаться руками любимых вещей, которые еще неделю назад были для нее неотъемлемыми частицами жизни.

Но все это уже не радовало, не помогало забыться. В горпартком она не ходила. Ей сказали — ждть.

Евгения ждала. Как-то подумала: может, забыли? Позвонила. Но знакомый голос секретаря успокоил ее. Пусть Евгения Кирилловна не волнуется. Работа для нее найдется. Надо еще подождать. Ждать уже недолго.

Евгения ждала. Посылала телеграммы в Одессу. Ежедневно по две телеграммы. Русая девушка на почте на Крещатике уже знала ее. Сочувственно смотрела на Евгению, каждый раз успокаивала, уговаривала не волноваться, — ведь телеграф работает сейчас не так, как в мирное время.

По ночам Евгения не могла спать. Приходилось глотать веронал. Снились тяжелые, страшные сны. Один раз приснилась Дубовка. Весенний паводок заливал берега. Высылся в степи половецкий курган. Журавлиный клин серебрился в чистом небе. Евгения стояла на берегу. Ветер рвал платье, разметал косы, не давал дышать. Бурные волны относили плоты. На крайнем, с шестом в руке, стоял Марк. Евгения кричала ему, но ветер относил ее слова...

Евгения проснулась. За окнами была ночь. Тихая июньская ночь лежала за окнами. Евгения подумала: надо взять себя в руки, надо напрячь все силы. Она знала, будь с нею Марк, было бы легче. Два десятка лет прошли они рядом, а теперь кажется, что это всего лишь два дня...

Клиника, где работала Евгения, выехала еще в первые дни войны. Ей приказали остаться. Она знала, зачем ее оставляют. Знал это хорошо и Марк. Конечно, она хорошо представляла себе всю сложность своего будущего существования. Но хорошо понимала — это долг сердца, души, это сама необходимость. И она готова была ко всему.

Провожая Марка в дальнюю дорогу, она тихо, как всегда, когда волновалась, сказала, что не знает — встре-

тятся ли они, будет ли с ними снова сын и жив ли он сейчас, но то, что доверили они друг другу в давнюю ночь на склоне половецкого кургана, живет у нее в сердце, этого не вырубить топором и не истребить огнем.

Марк уехал. Настало одиночество. Дни плелись медленно. Лето было жаркое. Пышно цвели газоны. Зеленые шатры душного июня раскинулись над Киевом. Великан-Днепр спокойно плыл в крутых берегах. И даже самый воздух, как и земля, казалось Евгении, был наполнен какой-то невыносимой скорбью. И это еще больше томило ее, навевало печальные мысли.

А Киев уже стал другим, хотя те же тополя высились на улице Короленко, и те же шеренги каштанов легко поднимались по улице Ленина, и так же играли блики солнца на куполе здания Верховного Совета. И все-таки Киев был уже не тот. И киевляне стали не те. Стерла война улыбки с их лиц, крепко сжала губы, скорбными морщинами пересекла лбы, положила холодные тени под глазами и дважды в день сквозь черные раструбы громкоговорителей посылала в души, в сердца людей слова трудной правды про кровь и смерть, про невыносимые утраты.

И казалось Евгении, если бы взглядом проникнуть за стены этих домов, если бы сердцем проникнуть сквозь эти каменные заслоны, нашла бы она там свою боль, и свою радость, и свою веру, и свою надежду. И, поняв это, с еще большим трепетом в сердце ждала дня, когда ее позовут.

Дни плелись медленно. Их, словно листки календаря, переворачивал ветер вечности медленно, не спеша. Евгения, казалось, слышала шелест этих листков. Единственное, в чем она была свободна, — это в мыслях. И она думала много, долго, то уходя в прошлое, то забегая далеко вперед. И в раздумьях она находила поддержку своему спокойствию.

Пришла телеграмма от Марка: «Проехали Пензу все хорошо тчк телеграфируй здоровье Игоря свое целую».

Евгения не выдержала — заплакала. Она снова позвонила в горпартком. Но ее попросили не волноваться. Может, она передумала за это время? Можно переменить решение. Краска залила щеки Евгении. Совсем не того добивалась она. Но просто нет сил сидеть в такие

дни без дела. Голос в трубке повеселел. А он думал, что Евгения поколебалась в своем решении. Пусть потерпит. Теперь уже недолго ждать. Евгения почувствовала сразу — теперь в самом деле недолго.

Она положила трубку и села к столу. В стекле полуоткрытого окна отразилось ее лицо. Неужели это она? Припухшие губы, впалые щеки. Евгения встала и подошла к зеркалу. Словно впервые она увидела себя за эти дни. Что-то, не знакомое ей самой, появилось в запавших глазах и в высоком лбу; над правым глазом переплелись две морщинки, а волосы, посеребренные сединой, напомнили Евгении про ее горе и ее годы.

Она отошла от зеркала, сказав громко: «Ой, поедем да догоним годы молодые». Не думая, с грустью выговорила она слова песни. А сказав, почувствовала: правда, так оно и будет. Теперь у нее была работа. Еще раз пересмотрела ящики стола. Неприятно повеяло пустотой.

На длинные шеренги книжных полок даже побоялась взглянуть. В маленький кожаный чемодан, облепленный этикетками заграничных отелей и пароходов, уложила несложный походный скарб, лекарства, хирургические принадлежности, бумагу и одну фотографию. Прежде чем спрятать, долго рассматривала ее. На фоне леса, в Святошине, — она любила это место и в эту минуту ясно ощутила густой запах раскаленной августовским солнцем сосны и увидела асфальтовое шоссе на Житмир, — она, Игорь и Марк стояли рядом и смотрели вдаль, и все смеялись, и над лбом Игоря ветер взбил вихор упрямых волос.

И еще вспомнилось Евгении, как Игорь всегда сердился на свои непокорные волосы и прижимал ладонью этот капризный вихор.

Спрятала фотографию. Проглотила горячую слезу. Потом положила в чемодан томик Джека Лондона «Северная Одиссея». Мокрым полотенцем долго оттирала разноцветные этикетки с чемодана.

Теперь знала: ждать недолго, и готова была сразу в путь.

Вызвали ее ночью, как раз тогда, когда она меньше всего ждала. Сказали, чтобы сразу взяла с собой вещи. Сердце у Евгении защемило, словно кто-то перехватил его тоненькой ниткой. Она включила электричество.

Оделась. Села посреди комнаты на стул. Обвела глазами стены, вещи, смятую постель. Из белой рамки заглянул ей в глаза Игорь. Будто сказал: «Ничего, мама, крепись». А ниже, под портретом Игоря, в тяжелой золоченой раме гневно бушевали волны моря и где-то далеко мерцал красным огоньком маяк.

Евгения встала. Надела кожаное пальто. Повязала платком голову, взяла чемодан. Обошла все комнаты. Задержалась в кабинете. Включила настольную лампу. Бросились в глаза белые листы блокнота в металлической оправе. Наклонилась, написала карандашом: «Мы вернемся».

Подняла голову и встретилась с глазами, в которых светилась теплота, ясность и сила. И этот взгляд вошел в сердце Евгении и остался там. Стояла перед портретом Сталина, полная великой тревоги, видя путь долгий и тяжкий, но уже чувствуя, что путь этот неизменен и светел.

Наклонив голову, словно прощаясь, она вышла из своего дома, где десять лет, изо дня в день, разумным светом сияла ее жизнь. И все, что происходило потом, принимала Евгения просто, как давножданное, без удивления, внимательно выслушивая все, что ей говорили. Написала письма Марку и Игорю, как ей посоветовал незнакомый товарищ в военной форме без знаков различия.

В маленькой комнате, где она сидела, кроме нее было еще трое: секретарь горпарткома и двое неизвестных. Ежеминутно звонил телефон. Евгении объяснили, в чем будут заключаться ее обязанности.

Прощаясь, секретарь горпарткома сказал:

— Едете вы партизанским доктором, Евгения Кирилловна, а придется быть иногда и настоящим солдатом. — Он долго пожимал руку Евгении.

— Встретимся. Будут лучшие времена.

— Будут.

Евгения вышла.

На затемненном аэродроме грузили самолет. Люди в военной и гражданской одежде сновали вокруг. Евгения села на чемодан. Инструктор горпарткома, привезший ее на аэродром, попросил обождать его и исчез в темноте.

Через несколько минут он появился и повел Евгению

к самолету. Что-то вполголоса сказал летчику, признакомил его с Евгенией.

— Это хорошо, — сказал летчик. — Врач на борту — счастливая примета.

Инструктор попросил парашют для Евгении. Пилот отказал. Зачем? Минут через тридцать-сорок они будут на месте.

Евгения попрощалась с инструктором и села в самолет. Зажмурилась и, стиснув в руках чемодан, застыла в ожидании. Легко оторвавшись от земли, самолет нырнул в темный океан неба.

Много пришлось Евгении летать на своем веку.

Давно когда-то, кажется, на берегу Черного моря, в Таграх, они с Марком, вспоминая юность и Дубовку, вдруг заговорили о полетах, припомнили чудесные журавлиные стада над весенней Дубовкой. Тогда они насчитали много тысяч налетанных километров. Мечтали о полете в Америку. Но о таком ночном полете и в думах не было.

Мысли о Киеве снова нахлынули на Евгению. Но она нашла в себе силы и оттолкнулась от них движением сердца, как пловец от берега, и уже плыла по новому руслу, думая о будущем, и только о будущем.

Евгения и не опомнилась, как самолет коснулся земли и побежал по полю, подсакивая на кочках. Через минуту Евгения выходила из самолета. В ночном сумеречном свете она увидела человека в кожанке; он шел впереди толпы, приближаясь к самолету. Человек в кожанке пожал протянутую Евгенией руку и, не дослушав ее, радостно перебил:

— Вот хорошо, что вы прилетели. Нам врач дозарезу нужен. Понимаете, товарищ...

— Высокос, — подсказала Евгения.

— А я и не назвал себя... Сокол, зовут... Да это не настоящее — партизанское имя... Придет время — и настоящее узнаете... Подождите, товарищ Высокос... А я делами займусь.

Партизаны разгружали самолет. Командир в стороне шопотом разговаривал с летчиком. Евгения вслушивалась в напряженную тишину ночи, ловила каждый шорох. Задумалась, полной грудью вдыхая теплый воздух, и вздрогнула, когда Сокол тронул ее за рукав.

— Пошли, товарищ Высокос. Пора итти.

Пропеллер завертелся. Партизаны с грузом на спинах отошли. Остановились на минуту. Самолет побежал по полю, оторвался от земли и стал набирать высоту.

Партизаны двинулись. Евгения шла рядом с командиром отряда. Быстро миновали поле и вошли в лес.

— Далеко немцы? — спросила Евгения и тут же рассердилась на себя за неуместный вопрос. Бог весть, что подумает о ней командир. Откуда ему знать, что за плечами у нее несколько лет гражданской войны, трудных боев, трехмесячный плен у Махно?

Наверно, он принимает ее за молодую коммунистку, типичного городского врача. А теперь, после этого вопроса, у него создастся о ней мало приятное представление.

Но Евгения Высокос ошибалась. Не знала она в эту минуту и не догадывалась, что в свое время в Киеве, в комнате одного из домов на улице Короленко, агроном Иван С. (Сокол) читал и перечитывал бумажку, на которой записаны были разнообразные события жизни Евгении Высокос, и именно на ней, как на человеке, способном выдержать все трудности партизанской жизни, остановил свой выбор Сокол. Он возвратился в свой совхоз на Бердичевщину и продолжал заниматься делами, а когда пришло время, стал во главе отряда и в тот же день начал опасную и почетную партизанскую работу.

Долго не отвечал он на вопрос Евгении, но в ту минуту, когда она, собственно, уже и не ждала ответа, заговорил:

— Немцы близко, очень близко. По сути говоря — вокруг. Перед нами фронт на сто пятьдесят километров. И дело ваше, товарищ доктор, трудное. Есть уже пятнадцать раненых. Лекарства и все прочее припасли. Помощницами у вас будут четверо девчат из медтехникума. Хорошие девчата. Поживете с нами день-два и освоитесь. В наше время на это больше и не требуется.

От его слов на Евгению повеяло спокойствием.

Молча шагали позади и впереди нее партизаны. Кто-то кряхтел под тяжестью ноши, но никто и словом не обмолвился. Только слышно было тяжелое дыхание людей, утомленных долгой дорогой.

И с этой минуты Евгения, шагая в ногу с еще не знакомыми людьми, почувствовала близость с ними,

своими единомышленниками и братьями. И уже без прежней резкой боли, напоминавшей отчаяние, вспомнила сына и мужа.

Скатилась по небу звезда. Взмахнув крыльями, нарушила тишину леса ночная птица. По тропинке в са-мую лесную чащу шли партизаны.

Г Л А В А Ш Е С Т А Я

Встреча в Броварском лесу

Красноармеец Семен Дудко возвращался Броварским лесом из полевого госпиталя в свою часть. Срок его лечения еще не кончился, но пулеметчик Дудко не мог отлеживаться в госпитальной палате, в то время как его товарищи отбивали бешеный натиск фашистов. Долго пришлось уговаривать врача, и, наконец, когда доказал, что у него все в порядке, а рана в плече совсем зарубцевалась, сломленный его настойчивостью, врач подписал документ, и Семен Дудко стал вольной птицей. Случайно, через знакомого политрука, ему удалось узнать, где находится его часть, и теперь он спешил к своему подразделению и своему пулемету.

На рассвете этого дня недалеко от Броваров приземлился одномоторный немецкий самолет. Высадил человека в сером военном плаще и зеленой фуражке. Самолет развернулся и улетел, а человек, зорко оглядываясь по сторонам, быстро зашагал к лесу и скоро исчез в зеленой чаще. Углубясь в лес на расстояние, достаточное, по его мнению, чтобы позволить себе отдых, человек остановился, сел под развесистой липой и, сняв фуражку, вытер пестрым платком изборожденный морщинами потный лоб. Потом, внимательно рассмотрев платок, скомкал его в кулаке, раздвинул траву, разгреб ножиком землю и, поднявшись на ноги, затоптал платок.

Казалось, успокоенный этим, он обвел глазами местность, но лицо его оставалось напряженным, коротко подстриженные седоватые усики топорщились, губа то и дело дергалась. Сбитые большие красноармейские сапоги и потертый планшет, запыленный плащ, засаленный воротник и обтрепанные рукава — все говорило о том, что человек прошел долгий путь, устал и теперь рад

отдыху. Под липой было прохладно. Многолетнее высокое дерево своей густой кроной заслоняло небольшой кусок земли от солнца, и низкая, сочная, бархатистая трава расстилалась под ногами.

Человек расстегнул плащ и начал шарить в карманах потертого пиджака, озабоченно озираясь.

Прислонился спиной к дереву и закрыл глаза, но сквозь узкие прорези век продолжал осматриваться.

Так в августовский погожий день уроженец села Бровары Максим Стецюк после долгого перерыва, после трудных скитаний по чужим краям очутился снова на земле, на которой рос, хлеб которой он ел и воду которой пил.

Как сейчас, видит он перед глазами ту давнюю ночь, испуганные лица жены и детей и себя, хмурого и готового на все.

Люди, которых он считал бессильными и ни к чему не способными, становились хозяевами. Они начали диктовать ему свою волю. И Максим Стецюк в одну ночь лишился десятков гектаров земли, на которой еще недавно работали для него эти новоявленные хозяева, лишился достатка, отличавшего его от десятков односельчан.

В ту ночь он, заклеянный изгнанник, покинул семью и село, поджег новые козхозные амбары, долго лежал в кустах, наблюдая с наслаждением, как огонь пожирает людское добро, а потом, как затравленный голодный волк, кружил по лесам и нехоженным тропам, от села к селу, от местечка к местечку и осенней ночью перебрался через узкую пограничную речку и очутился в чужой стороне.

Что было потом, лучше не вспоминать. Довелось Максиму Стецюку глотнуть полынной горечи чужбины, вплоть до грязных заплесневелых стен тюрьмы и проволоки лагерей, пока жандармы и их хозяева не убедились, какой он человек и какие намерения наполняют его душу. И все эти бедствия, скитания и несчастья, пережитые им, разожгли в его душе еще большую ненависть и злобу к далекой стране, которая не была уже его родиной. Об этой стране он читал в газетах, различал среди лжи жгучую правду и этой правдой, как солью, растравлял раны, еще острее оттачивал свою ненависть.

Его новые хозяева обращались с ним, как с собакой:

пывыряли кость, чтобы с голоду не подох, пинали сапогом, чтобы не ленился, в дом не пускали, держали за порогом, а он ластился, скулил в ожидании лучшего. И был он все эти годы подобен бездомному псу.

Когда надежда на лучшее уже почти исчезла, по обхождению с ним хозяев он понял, что наступает какой-то просвет. Он не ошибся. Звериное чутье не обмануло его.

И вот он сидит под липой в Броварском лесу. Десятки мыслей теснятся в его голове.

Наступил день его возвращения, мысль о котором вынашивал он в душе, как тайный драгоценный клад. Не терпится ему скорее подняться, двинуться в путь, крийти в Бровары, выйти на знакомую улицу, зайти в свой кирпичный, под зеленой крышей дом. Но нет, лучше сперва в господскую экономию, где теперь, видно, роскошествует председатель колхоза Демид Дудко. Узнает? Должно быть, нет. Это ведь Дудко в ту памятную ночь твердил: «Попил чужой крови, Максим Стецюк, раздобрел на чужих трудовых руках, будет!» А теперь он, Максим Стецюк, скажет: «Ветя и вернулся, Дудко Демид. Узнаешь? Оборвалась твоя линия. Точка». Выхватить бы револьвер и всю обойму вогнать в ненавистную Дудкову голову...

Но не с этого он начнет. Это еще придет. Не для того послал его из далекого польского города майор со стеклышком в правом глазу. Максим Стецюк покажет майору свои таланты, докажет, на что он способен. Будет знать майор и численность красного войска, и количество оружия, и места, где оно хранится, и многое другое. И все это принесет Максиму Стецюку достаток, силу и благополучие.

Много трудных лет прошло, но сила у Стецюка земляная, кровь густая, жилы не из конопли вязаны — из проволоки. Долгий век собирается он прожить. Хозяином будет.

Тихо в лесу. Ветка не шелохнется. Но ощущение опасности ни на миг не покидает Максима.

...В далеком польском городе, похожем на кладбище, майор со стеклышком в правом глазу, тот самый, который послал Максима Стецюка, докладывал пожилому генералу. Майор стоял смиренно, говорил неторопливо, повы-

сив голос: генерал был глуховат. Майор называл советские города и села, железнодорожные станции, куда заслал столько-то номеров, как принято было называть в их среде шпионов-агентов. Под номером 1168-б значился Максим Стецюк, украинец по национальности, раскулаченный, поджег колхозные амбары, бежал, перешел границу, проверен, пригоден для ответственных поручений. В СССР осталась семья: жена Мотря—49 лет, дочь Ганна—20 лет, сын Микола—28 лет. Жена в колхозе, хорошо зарекомендована, активистка. Дочь на машинно-тракторной станции. Сын окончил машиностроительный институт, работает на военном заводе. Где именно — неизвестно.

Таковы объективные данные. Все это занесено на зеленую карточку мелким шрифтом пишущей машинки.

Майор докладывает. Он может примерно наметить количество взорванных мостов, поврежденных железнодорожных путей и электростанций в советском тылу. Но перед номером 1168-б стоят другие задания. Существует еще номер 1168-а. Об этом 1168-б не знает и не должен знать. Это контроль. Это верный ход. Это уверенность и безошибочность. Если 1168-б дрогнет, 1168-а его уберет. И тогда зеленую карточку выдернут из ящика, перечеркнут накрест красным карандашом.

...А тем временем ползут меченные черными крестами, обведенными белым, танки, рвутся десятки тысяч снарядов, тысячекілограммовые бомбы перепыхивают степи, селения, города. Красная Армия сопротивляется, как железная. Широко расправив богатырские плечи, она принимает бой. Еще не отобилизованы резервы, не подтянуты войска, но все знают: борьба не на жизнь, а на смерть. Такого отпора, такой силы немцы не ждали. Прошли уже два срока капитуляции. Это не шутка. Фюрер шагает вне себя от злости по паркету Берхтесгаденского дворца. Потирает подагрические пальцы генерал Браухич. Лучшие танки прославленного Гудериана лежат мертвыми громадами вдоль шоссе, ведущего из Луцка на Киев. Солдатам фюрера твердили про хлеб и соль, цветы и слезы радости. Вместо этого — пули красноармейцев и партизан. Колхозники своими руками жгут хлеб, угоняют скот. Тучи пыли висят над дорогами, тысячи отар идут на восток, за ними идут крестьяне: мужчины, женщины, дети.

Ипустеют корпуса заводов: станки, машины эшелонами увозят на восток.

Теперь становится ясно — воюет весь народ. Фюрер ведет войну с советским народом — двести миллионов людей!

Железными коваными сапогами топчет война плодородные степи Украины, Белоруссии, Молдавии. Окрасились кровью воды Прута, Десны, Днестра, Сулы, Ворсклы и Днепра. Вьется дым пожарищ над Новоград-Волынском и Житомиром. Стоят, сгибаясь под тяжестью невиданного еще урожая, яблони и сливы. Перепаханная бомбами земля умывается утренней росой слез.

Гибнут десятки тысяч людей. Гибнут старые и малые, молодые парни, юные девушки. Гибнут безвинно...

Днем, ночью, дорогами, лесами, через море хлеб, лугами, болотами идут, идут, идут люди... Вся Украина сдвинулась с места...

...Максим Стецюк сидит под липой в Броварском лесу. Его разгоряченное воображение рисует будущее житье. Точно ему еще ничего неизвестно. Но он твердо знает одно: будет у него снова дом под железной крышей, будет земля — не только отобранные десятины, а еще хороший новый надел. Будет Демид Дудко со своим отродьем низко снимать картуз перед ним. Выбросят в сорную яму из господских палат парты школяров. Может быть, ему, Стецюку, отдадут эти палаты. Ведь майор обещал награду — большую награду.

Это будет новый порядок. И Максим Стецюк ощущает себя частицей этого порядка.

Но пора идти. Он резко подымается с земли. Размяв плечи, трогается в путь. И неожиданно, сразу за поворотом, наталкивается на красноармейца. Ни в сторону, ни назад уйти невозможно. Красноармеец Семен Дудко останавливается и, пристально вглядываясь в лицо незнакомого человека, спрашивает, не скажет ли товарищ, далеко ли до Дубовского хутора. Максим Стецюк с готовностью объясняет:

— Совсем близко. Километра два, может, да еще лесок небольшой — с три четверти километра.

Ответ точный. Семен Дудко сбрасывает с плеча винтовку и опускает на землю.

— А издалека, товарищ?

— Дальний, дальний, — грустно качает головой Максим Стецюк и просит закурить. Семен достает из кармана коробку папирос «Киев» и протягивает неизвестному.

— «Киев» — хорошие папиросы?

— Что, не курил разве?

Максим Стецюк вспоминает. На столе в бюро, где майор обучал «номера», лежала такая коробка. Ему тогда говорили: «Запомни — пригодится».

— «Киев» не курил, — отвечает Стецюк. — Я больше «Беломорканал» потребляю.

Пустил кольцо дыма. Сквозь прищуренные веки напряженно наблюдал за красноармейцем.

— Откуда идешь? — спросил тот.

— Из-под Винницы, товарищ. Племсовхоз наш эвакуирован, отбилс я малость от них. Они на Боярку, а я на Бровары подался, к приятелю. Там у меня кузнец знакомый... Радчук Пилип...

— Давно не видались?

— Давненько. Лет с десяток... И не переписывались... Может, и помер уже... — осторожно заканчивает Стецюк и, чтобы перейти на другое, предлагает посидеть, отдохнуть.

Они садятся рядом. Дудко кладет по правую сторону от себя винтовку, опустив ремень на локоть. Закуривает тоже.

— Жив Пилип Радчук. Увидите его. Мы с ним соседи. Ведь я из Броваров.

Глубоко затягивается табаком Максим Стецюк, так что дух захватывает.

Тихо в лесу. Ни шороха. Гнетущая минута неизвестности. Что же дальше? Теперь уже нет сомнения, — он может побожиться, — рядом сидит сын Дудка Демидка. Только он, и никто другой. Ведь хата кузнеца Радчука крайняя по улице, а слева от нее была усадьба Дудка.

Неожиданная встреча сковала язык. Нужно, однако, что-то сказать. Нужно спросить. Но не сорвется ли с его языка какое-нибудь неосторожное слово?

— Вы у родителей, верно, гостили? — спрашивает он вкрадчивым голосом, искоса поглядывая на красноармейца.

— Нет. Не пришлось. Времени мало. В лазарете полевым отлеживался. А теперь в свою часть спешу.

ставителю государственного порядка — пожалуйста, можно и даже обязательно нужно знать. В трест свой направляется, в Киев. Трест на улице Короленко, в 42-м номере, второй этаж, комната 7, отдел кадров. К товарищу Списарию — начальнику отдела.

А душа зоотехника неспокойна. Но до этого никому нет дела. Нарушил-таки он наставление майора — чуть не расшифровался. Но убить надо было. Во-первых, как-никак, отомстил, а во-вторых, избежал другой неприятности: мог этот Дудков сынок и ему пулю в лоб послать...


Письмо Дудко передать... К своим зайти... Но больше нарушать приказы майора он не будет. Не в таком виде объявится он домашним. Сейчас путь один — на Киев. К тому человеку — в Михайловском переулке. Два раза постучать в дверь. Пройти в коридор, сказать заученные слова. С этим человеком на заводе работает его сын — Микола. Повезло сынку. В инженеры выбился. Не истребили семья Стецюково большевики, не вышло! Скоро Микола не у голодранцев служить будет. Сам хозяином станет, у него служить будут.

Мысли тяжелые, радостные, тревожные не умещают-ся в разгоряченной голове. А вокруг все новое, все не такое, как было несколько лет назад. И от всего — от новых кирпичных домов, машин, тракторов, ползущих по шоссе, от асфальта, который стелется вплоть до самого Киева,—веет враждебным, чужим. Чужая земля стлалась под ногами, чужое небо раскидывалось над ним. И это больше всего огорчало его.

Через несколько часов зоотехник Петр Иванченко, он же Максим Стецюк, значащийся в третьем отделе ге-стапо под номером 1168-б, входит в Киев по Наводницкому мосту.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Город Н.

Город Н. с двух сторон опоясан реками. За междуречьем тянется степь, кое-где островки густого леса, и снова степь.

Железнодорожная линия надвое пересекает степь, разрезает леса, бежит по крапленным черными пятнами мазута шпалам, по волнистой ленте Уральского

хребта, переваливает через него и стремительно исчезает в тайге.

В долине, где расположен город, резкие степные ветры возникают внезапно. Вздывают над дорогами отвесные столбы пыли, отчаянно стучат в оконницы деревянных домов, срывают толевые крыши, клонят многолетние деревья и, промчавшись над степью, исчезают за горным хребтом.

Обитатели города весной и летом носят шоферские очки, зеленые, выжженные солнцем плащи. Они — патриоты своего города и своей степи, и более привлекательного, чем степь и темные воды глубоких рек — сестер Черной и Малой, для них в природе не существует.

В городе Н. есть новые улицы. Они, по сути, растут, как продолжение старых. Одноэтажные деревянные домики находят свое продолжение в степи в четырех- и пятиэтажных гигантах. За ними в междуречье высятся корпуса новых заводов, слава о которых гремит далеко за пределами этого края.

У города Н. в прошлом — содержательная и захватывающая история. И в местном музее, за стеклом витрин, вы найдете красноречивые документы, свидетельствующие о прекрасных традициях обитателей города, об их участии в строительстве советской державы.

Гордость города — маленький домик за зеленым забором, где в 1900 году жил несколько недель Владимир Ильич Ленин. Тихая улица, поросшая травой, бежит, как ручей, через холмы и овраги, а в саду за зеленым забором, в тени стройных берез приютился небольшой домик, и табличка на нем гласит:

«Здесь жил Владимир Ильич Ленин».

Марк Емельянович Высокос, по дороге из обкома партии завернул на эту тихую зеленую улицу. Машина остановилась у зеленого забора. Высокос и Сулак вошли в просторный двор. Вдоль дорожки, посыпанной золотистым песком, тянулись цветочные клумбы. Жаркое солнце залвало двор. Они сняли фуражки. Отряхнули пыль с башмаков и взошли на крыльцо. Девушка с раскосыми глазами приветливо встретила посетителей. Торжественной тишиной, свойственной музеям, повеяло на них. Они поблагодарили девушку, которая приготовилась давать им пояснения. Медленно шли вдоль стен, укра-

шенных плакатами и кумачом, подолгу останавливались перед витринами, может быть в сотый раз за свою жизнь перечитывая знакомые исторические документы.

Величественная и мудрая ленинская жизнь снова раскрывалась перед ними, поражая своей силой и волей к победе, и зажигала у Высокоса и Сулака чувства, заставлявшие учащенно биться их сердца.

— Здесь, в этих комнатах, — сказала девушка, вырастая за их спинами, — жил местный богач, лесопромышленник, а Надежда Константиновна Крупская жила в мезонине. Там жил и Владимир Ильич, когда приезжал сюда.

По узенькой лестнице, ступая осторожно, точно боясь нарушить чей-то покой, поднялись в мезонин. Крохотная кухонка, за ней комнатка: кровать, стол, стулья, узкое окно в сад.

Марк Высокос стоит, внимательным взглядом вбирая в себя каждую мелочь. Даже отрывистое дыхание Сулака раздражает его.

Молча выходят они из музея. Машина мчит по городу. И уже за шатким понтонным мостом Высокос больше самому себе, чем Сулаку, говорит:

— Этот домик, точно родник в степи.

Сулак посасывает неизменную трубку. Смотрит в сторону, где вдоль шоссе прокладывают трамвайные рельсы. Распахнутая на груди рубаша выбивается из-за бортов пиджака. Два ордена—Трудового Красного Знамени и Красной Звезды—оттягивают лацкан. Глаза у главного конструктора провалились, седые волосы всклокочены, глубокие морщины легли у рта.

«Исхудал старик», отмечает про себя Высокос. Он сидит в машине прямой и строгий; лицо чисто выбрито, волосы ровно расчесаны, полосатый галстук аккуратно повязан под острыми углами воротника голубой шелковой рубашки. В лацкане пиджака поблескивают золотом ордена Ленина и Красного Знамени.

Недавняя беседа в обкоме мало удовлетворила его. К сожалению, люди здесь еще не поняли, что такое всйна. Слишком много спокойствия в словах, даже в движениях. Марк Высокос недовольно пожимает плечами.

Шестицилиндровый «плимут» быстро мчит по разбитой дороге. Шофер Яковлев никак не может забыть

киевский асфальт. Сердито поглядывая на встречные грузовики, неохотно дающие дорогу блестящей, нарядной легковой машине, он без нужды долго сигналит, и протяжный переливчатый гудок — шофер зовет его «заслуженный артист» — раздаётся над шоссе.

На полной скорости, какой он, конечно, не позволил бы себе в Киеве, Яковлев стремительно влетает на строительную площадку № 1, где в двухэтажном нештукатуренном доме разместилось заводоуправление.

«Плимут» перебрасывает свое эластичное, сверкающее на солнце тело через узкую канаву, ныряет в овражек, и, выскочив на ровную дорогу, на все лады запев тормозами, замирает у дверей заводоуправления.

Неодобрительно глянув на Яковлева, Марк Емельянович выходит из машины.

— Я поеду на третий участок, — говорит Сулак, передвигаясь на середину сидения.

— Ладно. Потом обязательно заезжай.

Вахтер в дверях вытягивается. Утомленный дорогой, а еще больше тревожными мыслями, Высокос, опустив голову, размахивая большим портфелем желтой кожи, медленно поднимается по лестнице в свой кабинет. На площадке и в коридоре стоят стулья, столы, шкафы. Среди всего этого добра, неизменных спутников деловых учреждений, мелькает низенькая и толстая фигура завхоза Окулова. Он появляется, как из-под земли, и перехватывает директора на ходу.

— Марк Емельянович, они меня зарежут! — пискливо кричит завхоз. — Все требуют кабинеты, кабинеты, точно на курорт приехали. Я вас прошу, дайте распоряжение...

Движением руки Высокос останавливает завхоза. Что же, может быть, и нужно подумать о кабинетах. Комнат здесь достаточно. Люди будут лучше работать. Надо навести порядок. Скорее проложить кабель, установить коммутатор.

Завхоз растерянно разводит руками.

— Так ведь война, — пытается возразить он.

— Что же, война не оправдание для беспорядка. Наоборот. Завхозу Окулову следует помнить это. И вообще, отчего это третий день на всех этажах торчат в коридорах столы? Сегодня же все привести в порядок.

Высокос оставляет обескураженного завхоза, прохо-

дит через переполненную приемную и исчезает за дверью кабинета.

Он сидит за большим столом. Два широких окна открывают взгляду обширную панораму. В две шеренги стоят серые корпуса цехов. На-глаз их достаточно для большого завода, но слишком мало для завода Высокоса. Десятки станков, разное заводское оборудование лежат под брезентом, под наскоро поставленными на-весаами.

Построенные с другой целью корпуса не смогли вместить все оборудование Н-ского завода.

Позади корпусов в степи уже высились леса, клювастые экскаваторы выгрызали песчаный грунт, за рекой аммоналлом рвали каменистый склон, ровняя площадку для испытательных цехов.

Еще двух недель не прошло, как сели они на новой земле, а уже родилось ощущение давности, и оно было настолько глубоко и остро, что помогало жить, думать и работать.

Просматривая ровную стопку телеграмм с условным адресом: «Бетонстрой, Высокосу», поглядывая то и дело в окно, словно боясь хоть на миг упустить из глаз гигантскую, кипучую панораму стройки, вдумываясь в содержание серых полосок бумаги с набором букв, наклеенных на телеграфные бланки, Марк Высокос постепенно включается в этот четкий, безостановочный ход животворного процесса, который всегда напоминал ему симфонический оркестр, где каждый инструмент и каждый исполнитель, все вместе создавали величественную и захватывающую симфонию, увлекающую людей.

И теперь он, как дирижер, стоит за пультом и силой своей воли, напряжением мозга, каждым движением мускулов, точно дирижерской палочкой, направляет мажорную музыку созидания.

Пока тяжело. Будет, конечно, еще тяжелее. Но потом станет легче. Это неизбежные этапы. Миновать их нельзя. Сознывая это, Высокос вдумчиво расставляет силы, бережет их, аккумулируя общую энергию для последнего, решающего приступа.

То, что больше всего страшило его, Сулака, инженеров и мастеров, к сожалению, оправдалось. Ограниченный объем наличной кубатуры неизбежно суживал про-

изводственные возможности. Возникла реальная необходимость разделить завод. В этом были свои достоинства и недостатки. Разделив, можно было начать работу всех цехов одновременно, но разбивка технологического процесса при существующем расстоянии между заводами могла вызвать снижение не только качества, но и просто количества продукции.

Марк Высокос поставил вопрос ребром. Начать работу в готовых цехах, развернуть строительство новых трех цехов. Срок окончания строительства — семьдесят пять дней. Сулак, услышав это, чуть не упал в обморок. Инженеры замахали руками, — это невозможно. Материалы, люди... Но даже если бы всего хватило, все равно в семьдесят пять дней ничего не выйдет.

Это должно выйти. И выйдет до назначенного срока. Он высказал твердо и убедительно свою мысль. Работать в три смены. Людей нет? Люди будут. Мастеров и всех квалифицированных рабочих, свободных от монтажа оборудования, пока бездействующего, бросить бригадами. Он сам возглавит строительство. Монтажем оборудования в готовых цехах займется Сулак. Ни одного часа терять нельзя. Фронт требует пушек. Ответ может быть один: «Пушки будут».

Так начался штурм. Высокос послал телеграмму в наркомат. Через сутки, в три часа ночи, его разбудил резкий телефонный звонок. Минут за десять перед тем он вернулся со стройки и прилег отдохнуть в соседней с кабинетом комнате, где и жил. Марк Емельянович взял трубку. В разноголосый гул врезались отрывистые слова:

— Товарищ Высокос, с вами будет говорить Председатель Государственного Комитета Обороны.

Пронизывающий электрический ток пробежал в груди. Миновала короткая минута ожидания. И он услышал голос Сталина:

— Здравствуйте, товарищ Высокос! Как дела?

Высокос с трудом сдерживал волнение. Надо было говорить просто, основное, самое главное. Он рассказал.

— Я ознакомился с вашей телеграммой. Семьдесят пять дней — это обещание или твердое обязательство? — спросил Сталин.

Высокос ответил:

— Обязательство.

— Я рассчитал, — сказал Сталин, — если применить блочные перекрытия, вы управитесь и за шестьдесят дней. Сможете?

Секунда молчания незримо пролегла между городом Н. и Москвой. Высокос взвешивал. Ровно, глубокими ударами билось сердце. Его ответа ждал Председатель Государственного Комитета Обороны. Он, не закрывая глаз, увидел перед собой наклонившегося над столом человека в кителе, седину волос над ясным лбом, пронизательные и мудрые глаза. В эту минуту они смотрели прямо на него и спрашивали... И еще видел Высокос грозное поле боя, свою землю, родную и далекую, перепаханную немецкими снарядами; он видел улицы разрушенных, таких знакомых городов Украины, видел Киев, стены Арсенала, свое село Дубовку, родной Днепр...

Он ответил всей душой, всем сердцем. И его ответ прозвучал, как клятва:

— Сможем, товарищ Сталин.

— Спасибо. Желаю успеха!

Что-то сухо треснуло в телефоне. Потом тишина, как огромный колокол, опустилась над ним. Все еще не вешая телефонную трубку, Высокос стоял у стола, и мысли его, окрыленные теплом только что слышанных слов, летели в далекую Москву, стремились в степи Украины, блуждали по улицам Киева.

Он знал, что слово, данное им Сталину, коллектив выполнит.

Каждый день Высокос вспоминает этот ночной разговор, воплощенный в каждой мысли, в каждом его движении.

Суровая и упорная борьба идет на куске степной земли, за междуречьем, у города Н. Люди юга, не привычные к пыльным ветрам, холодным дождям, к резким сменам погоды — по три раза на день, — люди, десятки лет стоявшие за хитроумными станками: револьверщики, строгальщики, лекальщики, токари, слесари, известные мастера и знатные стахановцы, чьи имена знала Украина, а многих и не одна Украина, поднялись на леса бригадами и прорабами, и на помощь им пришли обитатели этой степи, из далеких горных селений и хуторов, колхозники и колхозницы.

...Под стеклом, которым накрыт письменный стол, лежат листы графиков и сводок, чертежи отдельных корпусов. Глаза Высокоса пробегают по черным столбикам букв и цифр одного из листов.

— Снова на 3-СК¹ не все в порядке. Что там не ладится у Михайловского? Занижена кладка кирпича, не выполнен план бетонировки. Неужели до конца недели он не выравнивается?

Высокос не заметил, как, тихо приоткрыв дверь, неслышно прошла по ковру секретарша. Только когда она заговорила, он удивленно повернул голову. Посмотрел на ее заплаканные глаза. Причину слез он знал. Сегодня сообщили о падении Херсона. У Веры Николаевны, секретарши, в Херсоне мать и сын. Муж где-то под Смоленском, в армии.

Вера Николаевна протягивает ему папку с бумагами. Он видит, как дрожат пальцы секретарши, держащие папку.

Высокос раскрывает папку. Перечитывает документы, делает в углу пометки карандашом.

— Вызовите, пожалуйста, Михайловского, — говорит он, не подымая головы, и, продолжая читать, успокаивает: — Не плачьте, Вера Николаевна. Надо крепко держать себя в руках. Другие советуют слезами горе лечить. Я не сторонник такого метода лечения...

Губы у Веры Николаевны вздрагивают. От этих приветливых слов ей хочется заплакать громко, по-женски. Тем более...

— Тем более... — говорит она надрывно, — что сегодня мне прислал письмо товарищ мужа: моего Сеню... моего... — Рывания сжимают горло; с усилием выговаривает она слова: — Моего Сеню убили... Его батарея стойко защищалась целые сутки и сдержала врага, но... но...

Высокос закрывает папку. Он подымается с кресла. Какими словами утешить эту женщину? Он помнит ее по Киеву. Веселая, бодрая, полная энергии и сил. Теперь перед ним стоит состарившийся человек, с печатью тоски на лице. Она кусает губы и беззвучно плачет. Он молчит. Он понимает: слова излишни. Это минутное молчание и склоненная голова Высокоса хорошо понят-

¹ СК — строительная контора.

ны Вере Николаевне. «И у товарища Высокоса, — думает она, — сын на фронте и жена где-то на Украине. И ему тяжело...»

Она берет со стола папку и выходит из кабинета.

Еще недавно в длинных серых корпусах за между-речьем было безлюдно. В две недели все переменялось. Приехали с Украины сотни людей, привезли станки, сложные громоздкие машины. Незнакомым властным гулом наполнилась степь.

Из дальних колхозов потянулись сюда мужчины, женщины, подростки. Город Н. послал на стройку, на завод лучших людей. Кто не шел на фронт, тот стремился пойти за реку — в серые цехи, на леса новостройки.

Так постепенно завод обрастал людьми. Украинцы, русские, казахи, башкиры, евреи, татары составляли одну армию работников и строителей и понемногу спайвались в один коллектив. Многие из них попали сюда из дальних городов и краев. В короткие часы отдыха слышны были отрывистые воспоминания про Минск, Чернигов, Могилев, Белосток, Львов, Киев. Люди эти просыпались по утрам с одной мыслью: «Как там мой Львов или моя Винница?» и спешили на работу. Каждый день труда, думали они, приближал их к родному дому.

Громкоговорители в цехах и на строительных площадках приносили малоутешительные известия. Их выслушивали, сжав кулаки, стиснув зубы. А выслушав, еще яростнее работали, подымались на леса, клали кирпич, заливали бетон.

Красные буквы на желтом поле фанеры целили в самое сердце:

«Чем ты сегодня помог фронту?»

«Тыл — тот же фронт!»

«Победа в тылу — победа на фронте».

Остап Гарайчук забыл свою стеклянную контрольную будку, точные блестящие станки, контрольные приборы. Обстановка требовала, и он стал прорабом. Неделю назад он еще очень неясно представлял себе, что такое бетон и как кладут кирпичи, экскаваторы знал только по фотографиям. Теперь он стал заправским прорабом. Весь покрытый толстым слоем пыли, низко надвинув на лоб

фуражку, он стоит на дощатом перекрытии, широко расставив ноги, точно капитан на мостике корабля.

Под ногами у него котлован цеха, тридцать восемь метров глубиной. Сотни рабочих в одном ритме делают одно дело, одним порывом бьются их сердца. Мысли Остапа прикованы к тому, чтобы выполнить план, уложиться в график. Тяжело дыша, по наклонной доске подымается к нему Сулак.

— Как дела?

— Плохо, товарищ Сулак.

Остап крепко пожимает руку Сулаку.

— Покажи рапортчку.

Прищуренным глазом смотрит на выведенные карандашом цифры. Возвращает блокнот Остапу. Хлопает по плечу.

— Если и дальше так плохо будет, далеко пойдешь.

— Надо лучше!

Сулак, точно впервые видит Остапа, присматривается к нему.

— Конечно, надо, — бормочет он. — С Марка Емельяновича пример берешь?

— Беру, — усмехается Остап.

— Вижу. Достойный пример. Но я боюсь за Михайловского. Только что от него. Вызвали к Высокому. Будет у них разговор. Представляю. С кладкой бетона у Михайловского скандал. Да еще Мякишев нудит. Недоволен, жалуется: «Я монтажник, а не строитель». Что с ним поделаешь?

— Приказать ему.

— А ты думаешь, я что — просил? — сердится Сулак. Вытирает платком мокрый лоб.

Тяжелая туча закрывает солнце. Ветер налетает с севера и взвихривает над площадкой столбы пыли, щебня и щепок.

Откашливаясь, Сулак сходит вниз. Садится в машину и едет в заводоуправление.

У Высокого он застаёт Михайловского и Шульгу. По багровым пятнам на щеках у Михайловского Сулак понимает — разговор был горячий.

Высокий радостно кивает ему головой.

— Садись, во-время приехал. Вот Степан Степанович нас выручил. Теперь у нас с Михайловским дела пойдут в гору.

Высокос сдержанно смеется. В кабинете директора жарко. Сулак поднимает и разглядывает на свет темную нарзанную бутылку.

— Видать, что разговор был горячий: всё выпили.

— Сейчас открою новую.

Марк достает из-под кресла бутылку и ставит перед Сулаком.

— Экономный стал, — говорит главный конструктор. — В Киеве чаем с лимоном угощал, а тут водичкой забавляешь...

— Пей, пей, Иван Иванович. Всему свое время. Будет и лимон. А Степан Степанович нас просто спас.

Сулак видит — настроение у Высокоса приподнятое.

— Расскажи, Степан Степанович, пусть наш главный конструктор тебя послушает.

Старый Шульга сидит в глубоком кресле прямо и неподвижно. Разглаживая большим пальцем седые усы, с достоинством молчит.

Что ж, если товарищ директор считает нужным, он доложит главному конструктору. Шульга поднимается с места.

— Сиди, сиди, Степан Степанович, — машет рукой Высокос.

Шульга благодарит, но не садится. Война — и здесь тоже война. Седые брови над пронизательными, старческими глазами смыкаются. У начальника З-СК, товарища Михайловского, не все ладно: нехватает квалифицированной силы. Но вот собрались старые мастера-арсенальцы — вместе в восемнадцатом году свободу отстаивали — и постановили обратиться к товарищу Высокосу, чтобы считал их мобилизованными для исполнения слова, данного товарищу Сталину. Как-никак триста кадровых мастеров — квалифицированная сила. Днем они будут за своими станками, ночью — на З-СК. На них вполне можно положиться. Каждый знает, что такое бетон, что такое кладка, — рабочие старой за-кваски.

Шульга откашливается. Его уполномочили заявить это директору и написали письмо. Он указывает рукой на письмо, лежащее на столе.

— И все просят так и назвать нашу смену — сталинская вахта.

Шульга садится. Теперь Сулаку понятно приподнятое настроение Высокоса. Ясно, почему влажными глазами смотрит на старого Шульгу Михайловский.

Высокос быстрыми шагами подходит к Шульге и долго жмет его большую, заскорузлую от многолетней работы руку.

— Порадовал ты нас, Степан Степанович.

...Поздно ночью Высокос и Сулак пили чай из электрического чайника, с аппетитом грызли черствые галеты и, проголодавшись за день, глотали, не пережевывая, в три этажа наложенные на куски хлеба шпроты.

Утолив голод, Высокос сказал:

— Ты знаешь, когда я смотрю на наших киевлян, на наших седоусых мастеров, привыкших к благодатному солнцу юга, когда я вижу их, одетых в брезентовые спецовки, измазанные известью, покрытые красной пылью кирпича и мелом, я начинаю понимать, как рождается то чувство, которое возникает на поле боя перед атакой.

Сулак не перебивал. Он понимал — Высокос высказывал мысли, которые давно волновали его. Сулак сидел в глубоком кожаном кресле, свесив руки по сторонам так, что пальцы касались ковра.

Марк Емельянович ходил по комнате. Он говорил:

— Эта борьба не на жизнь, а на смерть. И мы должны вдалбливать это каждому рабочему ежедневно, ежечасно. Ты знаешь, скажу тебе открыто: мне трудно читать газеты, трудно слушать радио. Ни одно людское сердце не может вместить в себе весь ужас этой войны. В ЦК, еще в Киеве, я просился на фронт. Мне сказали: «Делай свое дело». Ты помнишь, как нервничал Гарайчук, когда мы не пустили его на фронт? Еще недавно наши люди сомневались, где они будут полезнее. Теперь, после моего разговора с товарищем Сталиным, все поняли. Я сам глубоко понял.

— Слушай, друг, — Высокос остановился и, наклонившись к Сулаку, продолжил: — Десять лет прошли мы рядом, — ты меня знаешь, и я тебя знаю. Десять лет, как один день. Ты знаешь — у меня там жена, сын. Ты тоже оставил там сына и потому поймешь меня. Скажу тебе откровенно, от всей души скажу, Иван

Иванович: чтобы победить этих двуногих скотов, я не пожалею ни себя, ни жены, ни сына...

На минуту замолчал и, выпрямившись, глядя в окно, за которым синела ночь, решительно повторил:

— Не пожалею, но и не уступлю того, что мы растили двадцать четыре года, пойми только — двадцать четыре года!

Высокос сел, задумчиво подперев голову руками.

— История человечества еще не знала такой тотальной войны, — хрипло отозвался после долгого молчания Сулак. — Но в истории мира еще не было и такого общества, как наше. Мне пятьдесят четыре, Марк Емельянович, я старше тебя на восемь лет, я видел больше, чем ты, я встречал много людей: добрых и злых, способных на добрые поступки по велению сердца, и таких, которые только играли в благородство. Немцы хотят разрушить все. Развеять, как прах, нажитое нами. Вчера на вокзале мне один эвакуированный рассказал: в селе Будеиновке немцы согнали на площадь толпу женщин и детей, облили их бензином и подожгли. Ты представляешь себе — живые факелы. А?

Опираясь на подлокотники, Сулак поднялся с кресла, тяжело шагнул к столу и опустил на стекло могучий кулак.

— Перед нами звери в образе людей. Ты мне поверь, я их знаю. Я видел их еще в 1916 году. Я знаю их... Мы тут будем биться, как там, на поле боя. Через две недели смонтированные цехи дадут первую продукцию. Через тридцать восемь дней будут пущены те, которые мы строим. Ты знаешь, твой главный конструктор на ветер слов не бросает...

Они еще поговорили с четверть часа и разошлись. Высокос прилег в кабинете на диване. На рассвете его разбудил дежурный. Принесли телеграмму из ЦК ВКП(б). В ней сообщалось: вместо мобилизованного на фронт Сумцова парторгом завода утвержден Гарайчук Остап.

Высокос спрятал телеграмму. Прошел в смежную комнату, нагнул голову над умывальником, открыл кран. Холодная вода возвращала бодрость, наполняла мускулы приятным напряжением. Растирая шершавым полотенцем затылок, он весело и шумно приветство-

вал старушку Макарьевну, вносящую в комнату молоко и хлеб.

— Веселый ты, директор.

Старая женщина, буфетчица, она ни за что не хотела оставаться в Киеве. Долго уговаривала Высокоса взять ее с собой.

— Что я тут без вас делать буду?

Была она вдовой рабочего-арсенальца. Муж ее погиб в 1918 году. С той поры работала при заводе. Пришлось ее взять. Теперь, на новом месте, Макарьевна, зная, что директор одинок, взялась ходить за ним. Старушка позволяла себе поворчать на директора, побранить его. И то, что он шутливо делал вид, будто боится ее, еще большей теплотой и любовью наполняло ее сердце.

Поставив молоко на стол, намазав хлеб маслом, она отошла к порогу и, скрестив на груди руки, не удержалась, чтобы не заметить:

— Снова допоздна чадили в кабинете. Никак дым не выветришь. Это тебе не Киев. Здесь вентиляторов нет.

— Не буду, не буду больше, — утешил Высокос, повесил полотенце и сел к столу. Он с удовольствием пил молоко. За окном просигналил «плимут». Высокос заторопился.

— Не спеши, успеешь... — И вдруг Макарьевна заплакала.

— Что случилось? — встревожился Высокос. — Что с тобой?

— Лучше бы со мной что случилось, Марк Емельянович. Лучше бы на меня беда натала. Белую Церковь, душегубы, взяли... А ведь меня там крестили, Марк Емельянович...

Высокос оставил недопитый стакан. Прошел мимо старухи, ничего не сказав.

В коридорах заводоуправления еще стояла утренняя тишина.

Яковлев открыл дверцу машины.

— Только что по радио... — начал он сумрачно.

— Знаю. На третий участок. Только скорей, не мешкай.

«Плимут», как бешеный, рванулся с места и через секунду потонул в пыли.

Читатель вместе с автором возвращается в прошлое

В июле 1937 года известный профессор-терапевт, одно имя которого воскрешало надежду у людей, считавшихся обреченными, выстукал и выслушал впалую грудь инженера-конструктора Митрофана Игнатьевича Мякишева, вычертил у него на спине отполированным, остро подстриженным ногтем какой-то иероглиф и голосом, не признающим возражений, пробурчал:

— Запустили сердце, батенька. Одним словом, советую за границу. Ольгейм. Чудесное место. Горы. Озера. Тишина. Никаких заседаний, собраний. Нажмите на начальство. Хлопочите, а я напишу...

Профессор написал заключение, передал Мякишеву, сунул ему как-то боком руку и отвернулся, явно подчеркивая, что больше говорить или советовать он не хочет.

Митрофан Игнатьевич Мякишев еще долго ходил по разным учреждениям. Выявились почти непреодолимые трудности, в особенности с валютой. Но человеку порой везет именно тогда, когда он считает затеянное дело безнадежным.

Обстоятельства сложились так. На заводе успешно закончили монтаж испытательного цеха, который строился по проекту Мякишева. Приехал начальник Главка, осмотрел, остался доволен. Вызвал Мякишева. Принял его в кабинете Высокого. Разговор продолжался недолго. Мякишев попросил валюту и помощь — ускорить получение визы в Ольгейм.

— Почему не в Кисловодск? Чудесное место. Вы там были?

Мякишев замялся.

— Или, может, вообще хочется за границу, поехать, повеселиться?

— Нет, лечиться, и только.

— Хорошо.

Через неделю Мякишев сидел на террасе санатория-пансионата «Меркурий» в Ольгейме. Дни бежали один за другим, схожие между собой, как близнецы. Гимнастика, прогулка, завтрак, отдых, ванны, снова отдых...

Одним словом, инженер Мякишев набирался здоровья, читал газеты, письма из Киева. Они приходили почти ежедневно, и почтальон, вручая их, прикладывал два пальца к козырьку форменной фуражки и отказывался от чаевых. За это не надо благодарности. Конверт из СССР радует его. Он согласен такие письма носить по три раза в день. Мякишев смеялся. Наливал стакан квасу, называемого здесь вином, и протягивал письмоносоцу.

В карманном блокноте Мякишев автоматическим пером отмечал каждый день своего пребывания в Ольгейме. В пансионате «Меркурий» обитатель комнаты № 6, инженер Мякишев из Советского Союза, считался образцом человека, который умело и успешно отдыхает. Фру Свенсон, дорожная женщина, хозяйка пансионата, проявляла особую симпатию к обитателю комнаты № 6 и вместо двух ложек сливок наливала ему в чашку с кофе — три. Своей соседке, с которой по воскресеньям они вместе раскладывали пасьянсы, фру Свенсон говорила:

— Нет, про моего советского постояльца я ничего плохого сказать не могу. Вполне благопристойный человек. Его поведение напоминает мне поведение моего покойного Петера.

По озеру Ольгейм скользили парусные яхты. Свежим дыханием веяло с гор. Инженер Мякишев сидел на террасе и в бинокль разглядывал курортников, веселившихся на озере.

Но настал день, когда в поведении, как и в самой жизни инженера Мякишева, произошли перемены, которые бросились в глаза даже фру Свенсон. Прежде всего обитатель комнаты № 6 стал плохо есть. Это немало беспокоило добросердечную фру. Неужели она чем-нибудь не угодила ему? Фру Свенсон попыталась отдаленно намекнуть на это, но постоялец засвидетельствовал свое полное удовлетворение кушаньями фру и в знак полного восхищения поцеловал ей руку.

Но от внимательных глаз фру Свенсон нельзя было ничего утаить. Она была добросовестная хозяйка. Своё беспокойство она доверила доктору Моргенау. Старый доктор покачал головой, не то соглашаясь, не то отрицая опасения хозяйки пансионата «Меркурий». В конце концов в его обязанности не входило исследование ду-

шевных переживаний больных, которых он лечил. На этом закончились заботы ревностной фру, но этим не ограничились ее наблюдения.

Своей партнерше по пасьянсам, если бы та проявила хоть крошку любознательности, фру могла бы рассказать, как в одно прекрасное утро на террасе пансионата появился высокий мужчина в клетчатом сером костюме гольф, с плащом, переброшенным через руку, и в сбитой на самый затылок помятой шляпе.

Именно с того утра, когда на террасе появился этот незнакомец и сел за стол господина Мякишева, распространился вокруг едкий запах крепкого трубочного табака, произошли очевидные перемены в поведении инженера.

Больше фру Свенсон ничего не знала, да и знать не могла. Не знала она также, что в горах между озерами, в беседке «Гораций», а затем в рыбацком поселке Меланж, человек в клетчатом костюме гольф вместе с Мякишевым, в сопровождении третьего — толстого, заплывшего жиром мужчины, который поджидал их в этом месте, разговаривали по нескольку часов. Собственно, говорили сначала они, а Мякишев слушал. Встречи эти происходили по утрам, когда курортники завтракают или заняты процедурами, а крестьяне еще рыбачат на озерах. Таким образом, собеседникам никто не мешал.

После этих бесед Мякишев подолгу не выходил на террасу. Он лежал в своей комнате, уставясь в голубой потолок, расписанный белыми ромашками, и на его чисто выбритых щеках возникали и исчезали багровые пятна. То же происходило и ночью. Мирным сном почивал пансион «Меркурий». Блаженно улыбалась его хозяйка фру Свенсон, видя приятные сны. Только в комнате № 6 при скупом синем свете ворочался на смятых, согретых разгоряченным телом простынях инженер Мякишев.

В воскресенье, за неделю до своего отъезда из Ольгейма, инженер Мякишев поднялся на гору в беседку «Гораций». Еще только начинался день. Синее небо, затянутое серой пеленой рассвета, низко нависло над горами. Человек в клетчатом костюме гольф встал на встречу. Несколько незначительных фраз о здоровье, о проведенной ночи, о целительном воздухе швейцарских гор, осторожные, внимательные взгляды, кинутые по

сторонам, и затем они садятся в шезлонги беседки, и начинается речь уже о другом, о том, что лишило инженера Мякишева сна и покоя.

— Итак, господин Мякишев, — сказал человек в клетчатом костюме гольф на ломаном украинском языке, — сегодня наша последняя беседа. Буду говорить с вами откровенно. Нам не совсем нравится ваше поведение. Вы понимаете? — многозначительно проговорил он и положил потухшую трубку на столик.

— Девятнадцать лет мы не беспокоили вас. Мы выжидали. Мы следили за вами. Документ, подписанный вами девятнадцать лет назад, при мне. Вы можете прочесть его, чтобы лучше восстановить в памяти все обстоятельства, при каких вы дали согласие служить нашей разведке.

Человек в клетчатом гольфе протянул Мякишеву лист бумаги, набил трубку свежим табаком и закурил. Кудрявая струйка дыма закружилась в беседке.

Замерло сердце Митрофана Игнатьевича Мякишева. В памяти воскрес давно прошедший день весны 1918 года в Киеве. На Владимирской улице, в здании Центральной рады, он, молодой студент политехникума, единственный сын херсонского богача Мякушенка, офицер гетманской варты, подписал эту бумажку, даже не вдумавшись тогда в содержание фраз, тщательно разделенных на пункты...

Человек в клетчатом гольфе посасывает трубку. Вьется сизый дымок. Легкий ветер перебегает по ветвям деревьев. Шелестит листва. Мякишев думает. Можно разорвать на мелкие клочки этот пожелтый лист бумаги и мгновенно освободиться от всяких обязательств. Он вспоминает прочитанные книжки, где говорилось о почти подобных случаях. Но после такого поступка этот незнакомый, самоуверенный и настойчивый человек может сделать с ним все, что угодно.

Словно догадываясь о его сомнениях, незнакомец говорит своим жестким голосом:

— Конечно, вы думаете, что можно разорвать этот документ и все развеять по ветру...

Резкий смех нарушает тишину.

— Это была бы излишняя неосторожность с вашей стороны. Если вы не забыли, вы подписали два экземпляра, и, кроме того, мы глубоко убеждены, что в ва-

ших настроениях не произошло искреннего перелома в сторону признания советской власти. Правда, они забыли о вашем происхождении, да и вы, изменив окончание фамилии, избегаете упоминаний о нем. Затем вам доверили работу в институте. Теперь — вот уже третий год — вы честно работаете на военном заводе. Конечно, вам еще не вполне доверяют, учтите — вы единственный среди инженеров этого завода, не награжденный орденом.

Человек в гольфе взял из рук Мякишева документ, спрятал во внутренний карман пиджака и продолжал:

— То, что происходит с вами, нам на пользу. Но, господин Мякушенко, — он перешел на шопот, — скоро настанет день, когда загремят пушки, когда новый порядок придет в вашу страну. Еще девятнадцать лет назад вы сделали выбор. Вы дали обязательство. Я скажу вам на память, и вряд ли ошибусь, вы дали обязательство, в случае, если армия уйдет с территории Украины, остаться в Киеве и по первому приказу разведки выполнить любое поручение. Ведь это так?

Мякишев молча кивнул головой в знак согласия.

— Я не сомневался в том, что вы честный украинец, господин Мякушенко, — вы позволите называть вас так, — верю, что вы просто не придали значения этому документу. Однако по временам вспоминали о нем. Он беспокоил вас. Вы никому не доверили этой тайны?

Спросил и уставился колючим взглядом в глаза Мякишева.

— Нет.

— Я был уверен в этом. О таких вещах не должны знать ни жена, ни мать. Скоро вы вернетесь назад...

Мякишев вздрогнул.

— Мы ничего не требуем от вас сейчас, — подчеркнул человек в гольфе.

Мякишев сделал жест рукой, желая что-то сказать.

— Кстати, — заметил его собеседник, — я не совсем вежливо поступил, не назвав вам своего имени. Вы могли бы называть меня... ну, хотя бы, — улыбаясь, проговорил он, — герр Кленфендаль, если вам угодно. Так вот, господин Мякушенко, мы могли бы каким-нибудь способом ознакомить с этим документом органы государственной безопасности вашей страны. Представляете себе последствия?

Мякишев овладел собой, поднял глаза на герра Кленфендаля и тихо спросил:

— Что я должен сделать?

— О, это другой разговор! — обрадовался тот. — Скажу вам прямо — пока ничего. Ничего абсолютно. Но придет время, и вы сможете доказать свою преданность великой Германии, которая принесет новый порядок на Украину. Этот новый порядок, господин Мякушенко, вернет вам землю ваших отцов, былой почет, восстановит давние традиции, уничтоженные революцией...

Солнце вышло из-за горных хребтов и рассыпало золотую паутину над лесом. Митрофан Игнатьевич Мякишев посмотрел по сторонам усталым, напряженным взглядом, вобрал в себя лес, крутые тропинки, сбегавшие по склонам скал, далекую синеву озер. Какая-то давно забытая обидка всколыхнулась в нем. В лицо дышал ветер швейцарских гор, а ему слышался запах степей Херсонщины. Перед глазами стояли четыре бело-снежные колонны просторного трехэтажного отцовского дома. Расстилалась черноземная степь, жирная, плодородная... Нетронутые просторы родины, казалось, начинались сразу же за этими чужими горами.

И инженер Мякишев почувствовал, что в груди у него нет и не может быть места колебаниям, а то, что шевелилось в сердце вчера и несколько дней назад, — это была всего лишь боязливость труса, осторожная оглядка, которая сопутствовала ему в жизни все эти девятнадцать лет.

И тогда он уже без всяких колебаний подписал еще какую-то бумажку, поданную ему Кленфендалем, внимательно выслушал то, что от него требовалось, попросился, взяв на память маленький листок из блокнота, на котором был напечатан мало вразумительный диалог из романа словацкого писателя Сало Шандора «Возвращение».

Митрофан Игнатьевич Мякишев, по совету герра Кленфендаля, заучил на память этот короткий диалог. Он еще раз прочитал его в вагоне, по дороге домой. Потом заперся в уборной, сжег и бросил листок в раковину, наклонившись над ней и глядя, как сильная струя воздуха подхватила и разметала пепел.

Вскоре за тем была граница. Инженер Мякишев побледнел, когда человек в зеленой фуражке пограничника

взял из его рук чемодан. Ему просто предложили пройти в таможенную; он уже подумало другом. Было еще немало таких минут, когда острое чувство страха перехватывало горло Митрофана Игнатьевича и заставляло бешено биться сердце. Знакомые и друзья говорили, что лучше было бы ему поехать в Кисловодск. Митрофан Игнатьевич соглашался и переводил разговор на другое...

На заводе все шло по-старому. Он включился в работу, как и прежде, всячески подчеркивая свою аккуратность, старательность и преданность. Выступал на собраниях, писал заметки в многотиражку, прочел доклад на собрании техкружка механического цеха, ежемесячно платил взносы в добровольные организации и был безмерно рад, когда в газете «Пролетарская правда» среди стахановцев завода было упомянуто и его имя.

Однако всюду, каждый день и каждый час, где-то рядом с ним существовало что-то невидимое и неприятное. Оно заставляло присматриваться к каждому жесту, вслушиваться в каждое слово. Особенное беспокойство приносили ему встречи с Высокосом. Мякишев всячески избегал встречаться с ним один на один, а на оперативных совещаниях садился не за длинный стол, покрытый зеленой скатертью, а в кресло у стены. Ему казалось, что пронизательный взгляд Высокоса все видит и все угадывает.

Интуиция не обманывала Мякишева. Он словно знал, что однажды после оперативки, на которой Мякишев хвалил стахановца Рувимского, Высокос сказал Сулаку:

— Странный этот Мякишев. Слова у него какие-то чужие. Говорит про Рувимского: глубоко изучить опыт передовых рабочих, обобщить его, окружить вниманием общественности. Где, думаю, слышал такие слова? Смотри. Вот они. Не свои, заученные слова...

Высокос протянул газету Сулаку.

— М-да... — покачал головой Сулак, пробежав статью, на которую указал Высокос. — А работает ничего, аккуратный...

А Митрофан Игнатьевич Мякишев шел своей дорогой, обдумывая каждое слово и каждый шаг. Временами ему казалось, что он идет через пропасть по туго натянутому канату. Особенно остро чувствовал он это

по ночам. Просыпался в холодном поту. Просыпалась жена.

— Что ты, Мотя? Что с тобой?

— Ничего. Переутомился я.

Жена засыпала, бормоча:

— Поехал бы в Кисловодск, вылечили бы сердце, а то — заграница...

Эти слова еще больше раздражали Митрофана Игнатьевича. От злости он скрежетал зубами. Вставал с постели. Накинув на плечи халат, выходил в кабинет. Зимняя вьюга шумела за стенами дома. Под ее бестолковый, злобный гомон инженер Мякишев вел долгие обессиливающие беседы с невидимым собеседником.

По утрам после таких ночей у него бывал совсем больной вид. В конструкторском отделе он пытался шутить, вмешивался в разговоры на международные темы или долго и обстоятельно хвалил пушки, которые выпускал завод.

Залитый дневным светом зал, десятки людей, склоненных над чертежными столами, четкие, размеренные движения успокоительно действовали на Мякишева.

Постояв посреди зала, он шел в свой кабинет. Неизвестно для чего трогал пальцем замки на солидных стальных шкафах, где лежали важные чертежи, погружался в разглядывание новых свертков кальки, горою высившихся на столе.

Однажды вечером, в конце зимы, когда особенно беспокоило его чувство какой-то неуловимой обреченности, Мякишев, подчиняясь подсознательной потребности, решил пойти к известному профессору-терапевту. Прием только что закончился, и ждать не пришлось. Он назвал себя профессору и напомнил, что по его рекомендации ездил в Ольгейм, и тут же пожаловался, что горы и озера не принесли ему долгожданного исцеления.

Профессор, поджимая губы, ходил вокруг полуголого Мякишева, оглядывая его пристально, точно прицеливался, потрогал пальцем под ребрами и сердито сказал:

— Одевайтесь. Ничего у вас ненормального не вижу, батенька. Нервы, — проговорил он, покачиваясь на носках ботинок и глядя из-под очков. — Понимаете, нервы...

Мякишев неторопливо одевался, чувствуя, что этим раздражает профессора. Какая-то злость на этого чи-

стеняого, прославленного старичка нарастала в его сердце.

— Вы позволите закурить? — спросил и, не дожидаясь позволения, подошел к столу. Прежде чем отыскать спички, глаза его заметили маленькую книжечку в белой обложке. «Сало Шандор» — стояло вверху и ниже — «Возвращение», а совсем внизу — издательство «Космос».

Кровь прилила к лицу Мякишева. Папироса осталась незакуренной. Он спросил, указывая на книжку:

— Интересный роман?

— Не ючень...

Профессор, как показалось Мякишеву, усмехался — не губами, а одними глазами.

— Простите, но вы меня задерживаете, у меня еще визит...

Мякишев вышел. Профессор проводил его и сам запер за ним дверь. Мякишев стоял на полутемной площадке. Подчиняясь инстинкту, он приложил ухо к двери. Отрывистое дыхание донеслось до него. Тогда, уже не владея собой, он несколько раз сильно ударил в дверь кулаком. Прошелестели шаги за дверью. Короткая минута ожидания — и дверь открыла женщина в белом фартуке.

— Извините, — сказал Мякишев. — Я ошибся...

Женщина с сердцем захлопнула дверь. Мякишев прочитал табличку на дверях: «Профессор-терапевт Карл Карлович Бухштадт».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Оружие с нами, товарищи!

Светало. Тучи стаями набегали в небе, не пускали день.

Высокос просмотрел многотиражку. «На разгром врага» и спрятал в карман плаща. Он стоял на возвышении посреди котлованов, наблюдая заливку фундамента бетоном. Инженер Микола Стецюк, который дал ему газетку, суетился среди бетонщиков.

«Молодец парень, — подумал о нем Высокос. — Когда это он все успевает? Где бумагу добыл, типографию?..»

Два прожектора заливали светом строительство. На площадке стояла девушка в зеленом платке и держала в руках стопку газет. Девушка ждала: скоро окончится смена, можно будет раздать многотиражку.

Михайловский в «консервах», завязанных на затылке, хрипло покрякивал на крановщиков:

— Давай, давай! Шевелись!

Русый простоволосый паренек, в расстегнутой рубашке, обливаясь потом в три ручья, весело отвечал:

— Есть, товарищ инженер! Есть давать скорее!

Парень стоял на площадке возле главного крана и напряженно водил справа налево рулем, наполняя глубокий жолоб густой массой бетона. Серая масса ползла по ковшам и заполняла котлован, а из него, будто обнаженный осенью лес, поднималась арматура железобетонных конструкций.

Сотни людей работали в одном ритме, в один поток направляя свои силы. И на глазах у Высокоса поднимались одна за другой мощным сплетением железобетонные конструкции. Словно что-то перегрызая, непрерывно скрежетали бетономешалки, рычали грузовики, бесконечной цепью тянувшиеся на З-СК с кирпичом и цементом. В пыли, низко нависшей над стройкой, мелькали белые и красные косынки женщин. Среди них Высокос узнавал многих жен рабочих и инженеров. Они еще неумелыми движениями толкали вагонетки, смущенно улыбаясь при каждом промахе, а когда работа спорилась, смотрели гордо и звонкими голосами вышучивали незадачливых.

Высокос стоял один, ни о чем не спрашивая и ожидая, пока кто-нибудь обратится к нему. Он хотел своими глазами убедиться, какую экономию времени даст предложенный им способ ставить арматуру в башмаки, одновременно заливая их бетоном. Огромная стройка была разделена на четыре участка. В одно время с четырех сторон началась кладка бетона, установка арматуры и заливка башмаков.

На глазах у Высокоса вырастали стены будущего сборочного цеха. Сейчас он жил и мыслил только в этом квадрате рыжей песчаной земли, которая, подчиняясь мудрой воле человека и железной силе машин, покрывалась жорой бетона.

Высокос был глубоко убежден, и никто уже не мог

поколебать его веры, что настанет день — на этой перепаханной земле, залитой бетоном, люди поставят станки, и загремит на все лады победный напев станков, зашумят трансмиссии, заскрежещут подъемные краны.

Еще несколько дней назад его инженеры, и даже Сулак, спорили с ним. С особенным жаром возражал всегда такой покладистый, не склонный к деловым конфликтам с начальством Мяжишев.

— Простите, товарищ директор, но еще не бывало, чтобы одновременно с наращиванием опалубки разворачивали монтажные работы.

— Что же вы предлагаете? — спросил тогда Высокос. — Каким путем надо идти, чтобы ускорить темпы строительства цеха?

Мяжишев развел руками. Он начал было что-то говорить, но Высокос нетерпеливо оборвал его.

— Имейте в виду, товарищи инженеры, — сказал он, — только один цех, который строит третья строительная контора, если придерживаться графика, потребует двадцать восемь рабочих дней. За двадцать восемь дней мы должны возвести здание в десять тысяч квадратных метров.

— И при этом не должен ни на минуту снижаться темп работы в уже оборудованных и смонтированных цехах, — вставил Сулак тоном, по которому нельзя было понять — напоминание ли это с его стороны, или возражение.

— Понятно, цехи должны работать как следует, и мы должны выдать первую продукцию тоже по графику.

Высокос, расстегнув ворот рубашки, подошел к окну и открыл его. Густое облако табачного дыма поплыло в ночную темноту. Став спиной к окну, Высокос обвел глазами своих «штабистов», как называл он инженеров.

Знакомые, усталые, небритые лица.

— Бриться нужно, товарищи, — сказал он вдруг шутливо. — Неужели об этом тоже нужно приказ отдать?

Сулак потер тыльной стороной ладони жесткую щетину на щеке и позавидовал Высокому: «Когда это он все успевает?»

— Так вот, я думаю, — продолжал Высокос, подходя к столу, за которым сидели инженеры, — я думаю, — повторил он, как бы взвешивая то, что собирал-

ся сообщить своим подчиненным, — обойдемся мы без опалубки. Инженер Стецюк предложил один способ, который даст прекрасный эффект. Я рассмотрел чертежи, товарищ Сулак дал положительное заключение. Выслушаем сейчас Стецюка. Прошу.

Высокос обошел стол и опустился в кресло.

Микола Стецюк поднялся. Избегая взглядов, обращенных на него, взволнованным, прерывающимся голосом он доложил предлагаемый им способ. Строительные леса можно было, как он утверждал, заменить подвесными люльками на блоках, временно вмонтированными в верхний пояс металлической конструкции будущей стены. Такая люлька должна была иметь двенадцать метров длины и поднимать семь тонн груза, то есть запас кирпича, раствор бетона и бригаду рабочих.

Стецюк развернул на столе чертеж. Над ним нагнулись Михайловский, Мякишев, Фраимович, Орлов.

Высокос после минутной паузы спросил:

— Как?

— Дельное предложение, — отозвался Михайловский, — конструкция сама на себя будет работать.

— Это нам и нужно, — с довольным видом ударил ладонью по столу Высокос.

— Мы поставим ряд таких подвесных площадок. Одним движением рычага люлька поднимается на нужную высоту, без всяких затрат времени на постройку опалубки. С завтрашнего дня мы проводим способ инженера Стецюка на 3-СК. Товарищ Стецюк, я вас снимаю с цеха точных приборов и назначаю заместителем Михайловского.

...Высокос стоит один, погруженный в глубокую задумчивость, вслушиваясь в резкий шум стройки, как в чудесную музыку.

И то, что он тут, ощущают все инженеры и рабочие. Они знают: зря директор не стоял бы, тем более, что сегодня — первый день, как вошли в строй смонтированные цехи. Но там, в цехах, все инженеры, там главный конструктор Сулак. Высокос был здесь, на 3-СК, и это много значило.

Ветер надувал, как парус, протянутое через всю площадку строительства кумачовое полотнище. Продолговатые белые буквы ярко выделялись на красном фоне:

«Выполним сталинский приказ. Завершим точно в срок строительство цеха».

Отрывистый вой сирены объявил перерыв на завтрак. Девушка с газетами нырнула в толпу рабочих. Высокос одобрительно кивнул головой Михайловскому, который подходил к нему.

— Держать в том же темпе.

Больше он ничего не сказал, но и этого было достаточно, чтобы радостно забилося сердце Михайловского. В какое-то мгновение десятки людей окружили Высокоса. Он видел, как они доставали из карманов завернутую в газету еду, наспех жевали, пробегали глазами страницы многотиражки и поглядывали на него, чего-то ожидая.

И в этом минутном отдыхе еще продолжалось напряжение труда. Не исчезая, оно только замирало, как притихший шквал моря, чтобы через некоторое время ударить о берег с новой силой.

Хмурое утро вставало над степью. Холодный ветер завертел столбами пыль, рванул из рук газеты и полетел дальше, тонко визжа в пролетах конструкций, бессильно кружась над застывшими массами бетона. Дождевая, свинцовая туча подходила с севера. Первые капли дождя упали с неба. Серыми шариками влажной пыли покрылась земля.

Высокос взглянул на ручные часы. До конца перерыва — десять минут. Сейчас прибудет подмога. После ночной смены явится старый Шульга со своей вахтой. И, как бы подтверждая его мысль, в проемы стен вошли новые рабочие. Впереди шагал старый Шульга со знаменем в руке. Из кармана его синей спецовки торчал молоток.

— Подмога! Подмога идет! — встретили новоприбывших веселые голоса.

— Слава стахановцам! — крикнул русский паренек возле бетономешалки.

Полил дождь. Но никто не обращал внимания на него. Шульга подошел к столбу посреди площадки и прикрепил к нему знамя. Потом он протолкался к Высокому.

— Здорово, товарищ директор!

Шульга вынул из кармана блокнот. Струйки дождя сбегали по впалым щекам старика.

«Исхудал, старый», подумал Высокос.

— Видишь, — указал ему на листок бумаги Шульга, — вчера одна бригада дала двести кубометров бетона за смену, нынче дадим двести пятьдесят. Вот как!

Старик прищелкнул языком, и хитрые морщинки легли в уголках его глаз.

— Не отдадим знамени тебе, инженер, — обернулся он к Михайловскому.

— Ты бы поел, — посоветовал ему Высокок.

— А я уже — на ходу...

Насупив брови, смахивая рукой со лба дождевые брызги, Шульга сказал:

— Пока немец на земле, а не в земле, отдыхать некогда. Верно?

— Верно, Степан Степанович.

Рабочие — старики, молодежь, женщины — стояли вокруг под дождем, прислушиваясь к разговору Шульги и Высокока... Тут же стоял сбоку Стецюк. Жевал бутерброд, перешептываясь с Михайловским.

— Совет держите, как старого обскакать? — вмешался Шульга. — Не выйдет. — Хозяйским взглядом обвел армиатуру, кивнул головой. — Славно поработали.

Высокок надвинул на глаза кепку. Туже застегнул воротник. Он решил не уходить, побыть еще часа два на строительстве. До начала работы оставалось совсем мало. Только проклятый дождь мешает. Через несколько минут земля под ногами уже превратилась в бурое месиво. В канавах хлопала вода. Набрякшее полотнище свисало среди армиатуры, почти касаясь голов.

Шульга вынул из кармана большие часы луковицей.

— Немного осталось. Скоро начнем. Вот только послушаем последние известия — и за работу. А ты с нами побудешь, Марк Емельянович?

— Побуду, — ответил Высокок.

Укрепленный временно на одной из железных колонн, громкоговоритель вдруг проявил признаки жизни. Что-то забулькало в нем.

— Воды напился, что ли, — пошутил кто-то в толпе.

Но на шутника тут же прикрикнули. Люди сразу затихли.

Высокок сошел с возвышения и подошел ближе к громкоговорителю. Тревожное, напряженное ожидание передалось и ему. Дождь стал стихать, шум его исчезал,

точно падал косою волной где-то за бараками, окружавшими стройку с юга.

Прошло несколько минут, но для всех они показались необычайно длинными, и когда резкий, знакомый голос диктора из далекой Москвы объявил: «Московское время — шесть часов. Передаем утренний выпуск последних известий», каждый облегченно вздохнул, переступил с ноги на ногу и еще ближе придвинулся к репродуктору.

Слова, которые прозвучали затем, как молния, рассекли облачное небо, пронизали сердца, согнули крепкие плечи под ношей печали, затуманили усталые лица.

Высокос увидел, как из глаз Степана Шульги бежали слезы, терялись в седых нависших усах, и вдруг он сам ощутил солоноватый привкус на своих губах.

В напряженной тишине, переполненной болью, которую только что принесло радио, слышно было отрывистое, тяжелое дыхание людей.

— Марк Емельянович, слышали? — растерянно спросил Михайловский. — Киев сдали... Как же это?

Передернув плечами, он зачем-то надел очки, но не смог завязать шнурка непослушными пальцами и всердцах сунул очки в карман плаща.

Инженер Микола Стецюк сел на грязную, намокшую доску, опустил голову на руки. В мыслях перенесся он на тихую Левашовскую улицу, в маленькую квартирку, в комнату, где над столом до глубокой ночи склонялась фигура черноволосой девушки. И он думал в эту минуту, что место его не здесь, не в этой степи, — надо проситься на фронт, чтобы драться насмерть, за свой Киев, за Бровары, где мать и сестра. Что теперь с ними?

Высокос влажными глазами обвел десятки лиц, встретил вопрошающие взгляды. Режим движением расстегнул плащ и снял кепку. Снова начал моросить мелкий дождик. Свинцовые тучи низко нависали в небе. Сквозь них, точно сквозь решето, просеивалось серым светом далекое солнце. И оттого лица рабочих выглядели еще более хмурыми.

Люди смотрели ему в глаза и ждали. И он знал, что сейчас, до того как сирена объявит о начале работы, надо сказать им, его братьям и сестрам, какие-то убедит-

тельные, простые слова, которые развеяли бы тучи печали и тревоги, помогли бы вынести тяжесть временных утрат и зажгли бы в сердцах надежду.

Но прежде чем он начал говорить, Степан Шульга, неизвестно для чего стиснув в руках молоток, выстузил на шаг вперед и, выкрикивая слова, дрожащим голосом опередил Высокоса.

— Что ж это, Марк Емельянович? Куда годится? Мы тут, в далекой степи, за тридевять земель от Украины, а немец нашу землю поганит! Кровью Украина умывается, родные города и села наши немец огнем жжет, а людей, людей...

Шульга жадно глотнул воздух пересохшими губами и погрозил молотком далекому врагу.

— Что же это делается, люди? Куда годится? — Он уже кричал, вмещая в свой крик всю горечь утраты. — Я сплю в постели, ем три раза на день, газеты читаю, слушаю радио, а моя сестра в Шишаках у немца на паншине работает... Львов отдали, Днепропетровск, Никополь отдали, Беларусь горит, а теперь — Киев... Я тебя спрашиваю, товарищ Высокос: а не пора ли нам оружие в руки взять и, как в восемнадцатом году, всем вместе биться за отчизну? Хватит сидеть в тылу. Хватит!..

Шульга замолчал. Стоял, опустив руки, с трудом переводя дыхание. Высокос быстро подошел к Шульге, сильными пальцами сжал в запястьи руку старого мастера, державшую молоток, и поднял ее вверх, вглядываясь в лица рабочих. Высоким голосом сказал Шульге:

— Ты просишь оружия? Вот оружие! — Над головами людей покачивался молоток в руке Шульги. — Оружие с нами, товарищи! А раз оно при нас, то и мы ведем бой. Мы на фронте, товарищи! Кто вам сказал, что тут тыл?

Марк Емельянович выпустил руку Шульги.

— Я спрашиваю: кто сказал, что тут глубокий тыл? Кто, спрашиваю я? Тут фронт, и тут бой. Чтобы сестра твоя в Шишаках, Степаныч, на паншине немецкой век не вековала, вместо нормы в смену давайте две, три, четыре. А ты говоришь, Степан Степанович, — оружие! С нами оружие, товарищи! Так будем достойны этого оружия!

На миг Марк Емельянович замолчал. Разноголосый одобрителный гул раздался в толпе. Выбросив руку

вперед, перекрикивая тонкую сирену, объявлявшую о начале смены, Высокос кричал:

— Биться будем, как на фронте! Чтобы скорее наши пушки верную смерть врагам послали. За Киев отмстим, за все земли наши, опоганенные проклятым немцем. Я слово дал товарищу Сталину. От всех вас дал слово, что завод наш войдет в строй через шестьдесят дней. Такой цех, какой мы тут строим, в мирное время строили бы год-полтора. Мы это сделаем за сорок пять дней. И те, кто так работает, настоящие фронтовики. И инструмент рабочий в ваших руках — грозное, страшное немцу оружие!

Высокос замолчал. Рабочие быстро расходились по местам. Шум голосов перекрыло назойливое скрежетание экскаваторов.

Пестрая радуга опоясала небо, и стая туч передвинулась на запад, открывая голубую высь.

Степан Шульга, разглядывая, словно видел впервые, свой неказистый молоток со старенькой, отполированной от времени рукояткой, сказал, подойдя к Высокому:

— Оружие с нами! Хорошие слова. Верные слова, Емельянович!

Он тронул Высокоса пальцем за плечо и сочувственно сказал:

— Знаю, тебе тоже нелегко. Жена твоя там... сын...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Будни

Не спится Высокому. Скрестив руки на затылке, лежит он и слушает монотонный шум дождя за окнами. На крыше ветер играет сорванным листом железа. Гремит, завывает, бьет дождем в стекла, и они звенят протяжно и тоскливо.

Он прилег, чтобы заснуть, забыться, хоть на час уйти от неотвязных мыслей. Но мысли не дают покоя.

Сердце подсказывает: «Женя», сердце тоскливо твердит: «Игорь». Но что с того? Ни писем, ни вестей. Он разослал телеграммы во все концы. Ответа нет. Ладно. Он будет ждать. Ждать Высокос умеет. Кто из окружающих его, даже самых близких, мог бы с уверенностью сказать, что душа его беспокойна, что сердце

порою бьется сильнее, чем следует? Никто. Только посе-ребрились гуще виски да две резкие морщины встали над переносьем.

И всегда, когда Высокому особенно трудно, он поды-мает глаза на портрет человека, который пристально гля-дит на него сквозь стекло рамы. Долго смотрит он на пронизательные, все понимающие глаза и угадывает под черными усами теплую отцовскую улыбку. «Не падай духом, — как бы говорит она, — держись крепко, това-рищ Высокос».

Высокос знает — Сталину труднее. Он — мудрый ответчик за все и за всех. И мысль эта рождает уве-ренность в своих силах. И уже ровнее стучит взволно-ванное сердце, спокойнее текут мысли, слова приобре-тают нужную убедительность.

Женя, Игорь — эти два имени всегда рядом. Он но-сит их в сердце и в мыслях. Тут, в душной комнате, и под дождем на лесах, и в шуме стройки, и в цехах, где ровно гудят станки, имена эти рядом, они с ним.

Высокос вспоминает: давно когда-то в приморском городе они с Женей говорили о войне. Жгло южное, горячее солнце. Беззаботно плескались зеленые волны. Море дышало в лицо соленым ветром, звало в далекие чудесные странствия. А они с Женей сидели под тен-том, смотрели, как играет с мальчиками Игорь, и гово-рили о войне. Что ж, и тогда они хорошо понимали весь страшный смысл войны. Никаких иллюзий у них не бы-ло. Разве тогда, в тот день, и потом, гораздо позднее, в Киеве, они хоть на миг усомнились в том, что вся семья их — он, Женя и сын — должны вложить в эту будущую борьбу сердце и душу, каждый — все свое существо до последнего дыхания? Отчего же теперь по ночам он ищет каких-то успокоительных мыслей, утешительных видений? Нет, это не нужно ему...

Четыре десятка лет стоят уже за плечами. Сколько можно было бы написать об этих годах! И все, что на-всегда залегло в памяти, неотступно связано с тем, чем гордится вся страна и весь народ. Названия городов, где он жил и бывал, названия сел и станций, больших морских портов вспоминаются, как отметки на карте его жизни. Он жил тем, чем жил весь Советский Союз.

В недолгие часы отдыха, какие выпадали ему в жиз-ни, он любил слушать музыку и читать книги. Вечными

спутниками его были книги. С их страниц приходило к нему разумное спокойствие и умение наблюдать поступки и поведение людей.

Люди росли на его глазах. Они шли с ним рядом, и он любил сравнивать, какими они были еще вчера и какими стали сегодня...

Не спится Высокому. Еще до зари, вяло возникающей в хмуром небе, он уже сидит за столом, нагнувшись над чертежами, держа в руках логарифмическую линейку, старательно и неторопливо делая вычисления.

Последовательно, шаг за шагом, он в эту осеннюю ночь находит путь к решению задачи, которая стояла перед ним еще в Киеве. Теперь он знает, какой будет пушка его конструкции. Чувство, похожее на неудержимую радость, волнует его. Он налегает грудью на широкий стол и блестящими ножками циркуля бродит в странном сплетении прямых и кривых линий и сам не замечает, как бормочет слова какой-то песни. Он не догадывается, что Макарьевна, убирая соседнюю комнату, как вкопанная, застыла на месте. «Чудной человек наш директор, — думает старуха. — Плакать хочется, а он поет».

В тот день за обедом Высокий сказал Сулаку:

— А знаешь, Иван Иванович, нынче утром мне удалось решить формулу угла нарезки в стволах...

— Это основное, — отозвался Сулак. — Можешь теперь считать дело решенным.

Но Высокий еще не совсем уверен в своем успехе. Такой уж у него обычай — сперва хорошенько проверить все самому, а уж потом сказать: я сделал все возможное и достиг цели. Высокий высказал эту мысль Сулаку.

— Возможно, — ответил тот, — но знай, что я готов в любую минуту прийти к тебе на помощь. Ты ведь знаешь... годы нашей совместной работы в Киеве дали тебе возможность убедиться...

— Иван Иванович, разве я чем-нибудь обидел тебя? — удивился Высокий.

Сулак недовольно махнул рукой. Только теперь Высокий заметил, что перед главным конструктором обед стоит нетронутым.

— Почему не ешь? Нездоровится?

Вместо ответа Сулак положил перед ним серый ли-

сток. Еще ничего не понимая, Высокок развернул и прочитал: «Командование Н-ской части пограничных войск НКВД извещает Вас о героической смерти Вашего сына Сулака Ивана, который погиб, защищая неприкосновенность советских границ, уничтожив в неравном бою 22 фашиста. Сын Ваш боролся, как герой, и за свой подвиг посмертно награжден орденом Красной Звезды...»

Подписей Высокок уже не дочитал. Он поднял голову и посмотрел Сулаку в лицо. Перед ним сидел его друг, ближайший помощник и советчик, одинокий в своем большом непоправимом горе. Единственное, что мог сделать в эту минуту Высокок, — молча протянуть руку и крепко пожать большие узловатые пальцы старого инженера. Глаза Сулака горели сухим огнем, и в углах рта печаль утраты проложила две глубокие морщины.

Высокок обвел влажными глазами пустую столовую. Они с Сулаком сидели одни за столом, покрытым серой с украинской вышивкой скатертью, и думали в эти минуты об одном и том же.

— Утром, в первый раз прочитав это письмо, я заплакал, — глухо, точно издали, произнес Сулак. — Понимаешь, двадцать лет не плакал, а сегодня слезы лились неудержимо. В восемнадцатом году, когда моего брата эти подлецы вешали, сердце разрывалось от боли и отчаяния, но слез моих гады не увидели. А сегодня плакал, как ребенок... Если бы не они, жил бы мой Ваня, жил бы на свободной земле своей. Мечтали мы с ним вдвоем по Украине побродить этой осенью... А вышло...

Сулак скрипнул зубами и уставился в окно.

— Да, вот... Я твоих вспоминаю, Марк Емельянович... Что же это будет? До каких это пор немцы будут топтать нашу землю?

Переведя дыхание, точно глотая злобу, душившую его, он уже кричал:

— Не успокоюсь, пока не истребим всех до одного. Мало пушек даем. Больше надо, Марк Емельянович. Слышишь меня? Больше! И твой проект... О, я вижу ее, твою пушку, на поле битвы... Скорее давай наброски!.. Сегодня же возьмемся за рабочие чертежи. Один выстрел и двести пятьдесят шесть осколков. Сколько же это убитых немцев! Скажу правду, я зави-
дую тебе,

Вскоре Высокос и Сулак разошлись по своим делам. Но с этого дня, как никогда еще за годы совместной работы, за годы дружбы, оба унесли в сердцах своих неугасимое тепло братской сердечности и ласки.

Печаль после разговора с Сулаком развеял Гарайчук. Он принес свежий номер «Правды» и развернул его перед Высокосом с видом победителя. В небольшой заметке об успешном монтаже цехов и ускоренном строительстве новых двух объектов Н-ского завода упоминались имена стахановцев, инженеров, а также Высокоса, Сулака, Гарайчука.

— Ну, вот видите, товарищ парторг, — шутливо сказал Высокос, — и в газетах уже пишут о нас.

Гарайчук засмеялся. Он не в силах был сдержать свою радость. Понимал — и Высокосу приятно читать, что их завод одним из первых среди эвакуированных вошел в строй.

— Разве это не победа? — спросил он у Высокоса.

— Победа. Но главное — впереди. Главное, мой друг, увеличить выпуск пушек на пятьдесят процентов и дать новую конструкцию. Теперь послушай, Гарайчук, что я тебе расскажу.

И Высокос неторопливо развернул перед Гарайчуком картину действия пушки, над созданием которой он работал столько лет.

Гарайчук слушал с увлечением. Пылкое воображение его дорисовало многое к тому, что пока лишь временами звучало в словах Высокоса.

И Гарайчук забыл, что собирался посоветоваться с директором насчет важных бытовых дел на стройке, о том, что намерен отдать под суд заведующего столовой Хмелевского... Вернулись к этому позднее, перед отъездом Высокоса.

Когда окончательно подготовлены были рабочие чертежи, Высокос вылетел в Москву. Мысль, что он вскоре увидит столицу, не давала ему спокойно сидеть в самолете.

Накануне Высокос говорил о наркомом по телефону. Нарком был в курсе работы Высокоса над созданием нового типа артиллерийского орудия. Об этом был разговор еще за месяц до войны.

Через несколько часов, наполненных для Высокоса волнующими и радостными мыслями, «Дуглас» опустился на одном из аэродромов Москвы.

О чем пел курай

Всего за два месяца до того, как приехали сюда люди с Украины, за междуречьем пролегалла пустынная степь, поросшая низкой зеленой травой. Гатиат Кадыр проходил степью, направляясь из своего лесничества в город. Иногда он задерживался возле длинных пустых корпусов. Старики-сторожа поясняли: дескать, будет здесь какая-то мыловаренная фабрика. Гатиат шел дальше.

Пустые здания, в которых гулял ветер, не выходили из головы. Дело в том, что Гатиату наскучил лес. Был он молодой и сильный парень, и лес, со всех сторон окружавший его юность, теперь как бы заслонял ему свет. Его приятели и друзья из соседнего села, в двадцати километрах от лесничества, кто был в армии, кто учился в городе. У Гатиата не осталось друзей.

Старик-отец больше всего в жизни любил лесную глушь; он укорял Гатиата: «Не пристало тебе наш лесной род портить. Куда, сын, пойдешь? У каждого своя доля, и в своей доле каждый — царь».

Лес вокруг был отборный, мачтовый. Благородные деревья окружали маленький дом лесника. Старый Сайфи знал каждое дерево и умел разговаривать с ним. Знал он, что сказать дубу, чем порадовать клен, как развеселить стройную кудрявую сосну. И для каждого ясеня, осокоря, дикой груши или кедра находилось у старика только ему известное, теплое слово.

Утром и вечером радиоприемник «Колхозник» приносил в дом лесника вести, — чем живет мир. В двенадцать часов ночи по московскому времени мелодично звучали кремлевские куранты, доносилась сирена автомобиля, врываясь в размеренный бой часов на башне Кремля. Гатиат закрывал глаза и видел далекую Красную площадь, зубчатые стены Кремля; другой мир раскрывался перед его пылким воображением, и звал его, и не давал покоя.

И Гатиат решил: пробудет до осени у родителей, а там двинется в путь.

Война ворвалась в жизнь Гатиата неожиданно. Она смешала все планы, оборвала надежды. Много перемен принесла война.

В песне, какую прежде, до войны, любил петь Гатиат, одиноко бродя в гуще леса с топориком в руках, отмечая деревья на сруб, — в той песне, какую выводил его сильный молодой голос, были слова о будущей войне.

Гатиат ходил из лесничества в соседнее село, в кружок Осоавиахима. Гатиат знал, как разобрать и собрать винтовку. Он метко стрелял. И на районных состязаниях получил грамоту и значок ворошиловского стрелка.

Закинув за плечо охотничье ружье, захватив с собой в сумке хлеб, соль, спички, Гатиат на несколько суток уходил в лес, блуждая мыслями в сизой дали, раскинувшейся за волнистыми кряжами гор, за лесной чашей.

В селе, куда ходил Гатиат, в райкоме комсомола была девушка Таня. Стройная, белокурая красавица. Девушка нравилась Гатиату. Он любил сидеть в душевной, тесной комнате райкома и любоваться ее чудесным лицом, следить, как она время от времени тонким пальцем откидывает со лба прядь белокурых волос. Однажды Гатиат хотел сказать ей о своих чувствах, но, когда они очутились вдвоем в степи, — Таня шла на станцию, и Гатиату было с ней по дороге, — у него вдруг нехватило слов, и он только сжал ее руку и ничего не сказал, а девушка покраснела и отняла руку. И так они дошли в тревожном молчании до станции и молча попрощались. А ночью Гатиат сидел под развесистым дубом, смотрел на звезды и думал о Тане.

И когда пришла война и почтарь, на велосипеде привозивший из города в дом лесника газеты, принес тревожную весть о ней, Гатиат сразу подумал о Тане, и сердце его сжалось.

В райкоме комсомола, куда теперь ежедневно ходил Гатиат, всегда было людно. Некоторым ребятам везло: многих из них послали в военные школы, в парашютные отряды, только заявления Гатиата оставались без последствий.

Уехала в школу медсестер Таня, попрощавшись с Гатиатом. И он глубоко, в самом сердце, сохранил ее прощальное слово.

Потом разнесся слух, что из далекой Украины сюда, в степь, приезжает большой военный завод, и заводу нужны рабочие. Райком комсомола объявил мобилизацию. В списки попал и Гатиат,

Так он распрощался с домиком в лесу и переселился в барак на строительстве. Думал он, что его сразу же поставят к сложным машинам, и уже представлял себе, как он стоит у станка и своими руками делает оружие для фронта. Но Гатиата включили в комсомольскую бригаду и послали строить новый цех. Вскоре Гатиат из ученика стал мастером кладки бетона, и весь отдался этой, еще недавно не знакомой работе, с каждым днем добиваясь новых успехов.

В общежитии кровать его стояла рядом с кроватью Гордея Шульги, сына седоусого мастера. Старик нравился Гатиату. Он обучал его ремеслу. По ночам старый Шульга работал у револьверного станка, а днем — на 3-СК. И Гатиат и Гордей были в его смене бригадирами.

Гатиат и Гордей стали друзьями. С первого дня встречи понравились они друг другу и по ночам, лежа рядом, вели долгие беседы, поверяя один другому свои мечты и планы.

Бригада Гатиата стала на сталинскую вахту. У нее было задание: дать за смену двести десять кубометров кладки бетона. Перед сменой Гатиат созвал своих ребят. Пришла и бригада Гордея Шульги. Они посоветовались, поспорили, покурили и, как настоящие мастера, ударили по рукам. Они обязались выдать по двести пятьдесят кубометров.

Гатиат затянул пояс на спецовке, лицо его стало строгим, косою разрез глаз сузился. Он повел своих ребят в бой. Звенели на ветру металлические конструкции, шипели автогены, настойчиво ухали бетономешалки. Гатиат пел. Грохот заглушал слова песни. Только видно было, как шевелились губы. Гатиат быстро и ловко разливал бетон по башмакам. Бетон затягивал ледяной корой металлические формы.

Над площадкой Гатиата ветер покачивал фанерный лист с надписью: «Задание — 210 кубометров, обещаем — 250».

Когда закончилась смена, старый Шульга мелом перечеркнул «250» и написал большими цифрами «300», сказав сыну:

— Обогнал тебя Гатиат, Гордей. Отстал ты... Куда это годится?

Гатиат весело смеялся. Гордей усмехался смущенно. В многотиражке напечатали портрет Гатиата.

Ночью он расспрашивал Гордея про Киев. В воображении рисовались красивые улицы, большие дома, сады и парки, и величавый Днепр, и крутые склоны его берегов. Гатиат прежде читал про Киев и знал в русском переводе «Заповіт» Шевченко. Ему жаль было Гордея, который потерял свой город и свой дом. И, чтобы утешить его, он сказал:

— Ты не тужи, Гордей. Для нас везде своя земля. Разве у нас тут плохо? А прогоним немца — в Киев поеду к тебе.

В эту ночь они говорили до рассвета. И Гатиат рассказал Гордею о Тане.

Бежали дни осени, дожди секли степную землю, не высыхали ни на минуту серые стены цехов, почернели недавно выстроенные жилые бараки.

За междуречьем, в степи, выросал новый город. На глазах у Гатиата везде, где месяц назад была голая степь, выросли дома. Поднимались над землей телеграфные столбы. Пролегли рельсы железной дороги. По нескольку раз в день грохотали эшелоны, кричали паровозы.

Но не сиделось здесь Гатиату. К тому же совсем неожиданно пришло письмо от Тани. Таня работала в полевом госпитале и просила Гатиата писать. Он прочитал письмо Гордею и отправил Тане ответ. Он высчитывал, сколько дней будет идти его письмо к Тане.

Гордей сказал:

— Эх, Гатиат, пора и нам на фронт!

Они подали заявления. Для верности написали и в райком комсомола и в военкомат. Обоим им не было полных восемнадцати лет, и их не хотели брать в армию. Они обратились к Гарайчуку. Гарайчук спросил Гатиата, где живет его отец. А тем временем поговорил с Шульгой.

— Что ж, — отозвался старик, — правильно надумал Гордей. Я не перечу. Украину надо отвоевывать.

Гарайчук поехал к лесничему Сайфи Кадыру. Лесничий усадил гостя на почетное место. Он выслушал рассказ о намерениях его сына и обрадовался в душе, что сын — лучший бригадир, а многотиражку с его портретом спрятал на груди. Лесник сказал:

— Коршуны терзают тело родины. Коршунов одолеют орлы.

Он хотел воспитать в сыне душу орла. Крыльям орла нужен простор и высота. Пускай летит.

Гарайчук помог юношам. Их зачислили в школу снайперов. Накануне отъезда Гатиат, Степан и Гордей Шульга вместе с Гарайчуком поехали к лесничему. В доме собрались гости.

Гатиата и Гордея посадили среди старших.

Родичи привезли подарки: двух баранов, пшеничный хлеб, сладости.

Сайфи сказал Степану Степановичу Шульге:

— Половину сердец мы отрываем. А понадобится — и вторую половину отдадим родине.

Указал на портрет Сталина, украшенный еловыми ветками:

— Он мудрый. Он далеко видит. Ему судьбу сыновей доверять можно.

Степан Шульга налил стопку. Встал из-за стола, кряжистый, высокий.

— Налейте, хлопцы, по доброй чарке.

Хлопцы тоже поднялись. За ними поднялись все.

— Слушайте, сыны, что я вам, старый, скажу. Думаю я, Гордей, может, мне, да и побратиму моему — Сайфи, слезу уронить надо: ведь на ратное дело вас посылаем, а ратное дело в дружбе со смертью. Страшное дело — война. Знайте это, дети; и слушайте, что старый Шульга вам говорит. Пройдем через горе и слезы, каких свет не видел, а свое отстоим, отвоюем. Когда-то, в старину, говорили наши предки-запорожцы: «Там, где мы, нема смерти; там, где смерть, нас нема». Так вот, хлопцы, смерти не бойтесь. А не будете ее бояться — всегда победите. Что ж, — голос Шульги оборвался, — не кроюсь, плачу трохи... Эх, сынку, будем здоровы...

Звякнуло стекло рюмок. Тихо было в комнате. Грозно гудел лес за окном.

Старик Сайфи взял из угла курай, прижал к губам, зажмурился, и гнетущую тишину, тоскливую печаль расстаней развеяли тонкие и протяжные звуки степной мудрой думы. Она склонила головы людей в доме лесника, избородила их лбы морщинами, она стучалась в сердца, и звала, и манила, и таила в себе чарующую, глубокую мощь, как старое многолетнее вино.

Пел курай.

Видел Гордей поле боя. Дыхание войны било в лицо. Едкий ветер боевой тревоги оведал его.

Пел курай.

Видел Гагиат белокурую девушку, ощущал теплое пожатие руки. И вот — не стало девушки, только били орудия, и пьяные немецкие солдаты лезли на окопы, и он косил их из пулемета. Сердце счастливо билось в груди.

Пел печально курай. Наваял на сердце Гарайчуку тоску. Воскресил в памяти страшное утро двадцать второго июня возле Поста-Волынского.

Пожарище. Мертвое тело дочери. Но в протяжных звуках, словно в сиянии солнца, распознавал Остап Гарайчук очертания иных дней — дней победы.

Слушал курай старый Шульга. Любил он мудрую песню народа. Думал: «На земле все народы — братья. Народы — друзья». Горько было и тяжело старику за Украину, за Беларусь, жаль было Молдавии. Гибли люди. Счастье ломали немецкие танки и бомбы. Великая боль жгла сердце Шульги.


А старый Сайфи, закрыв глаза, изливал в музыку всю горячую страсть своей думы и видел невеселые дни давней своей молодости, тяжкую батрацкую долю, а потом счастье свободы и настоящую жизнь. И не было большего горя, чем эта война. Даже смерть любимой жены не равнялась этому горю, и он играл песню печали, она постепенно переходила в песню мести за разрушение и смерть.

И о том же грозно гудели степные ветры, и леса, и шумные реки, и горы.

Курай пел в доме лесника осенней ночью. И в тесном кругу за столом слушали Сайфи украинцы, башкиры, евреи, русские...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Ганс Кленфендаль любит Тараса Шевченко

 ерр Кленфендаль, занимающий видный пост в одном из подразделов восточноевропейского отдела гестапо, сменил свой костюм гольф на военную форму офицера штурмовых отрядов «СС» и сел в танк, закамуфлированный зелено-бурыми полосами, — они должны были маскировать машину под зелень.

Танк, с орудийной башни которого бездумно смотрели глазницы черепа, старательно намалеванного педантичной немецкой рукой, переполз по мосту через речку, всего несколько недель назад бывшую пограничной, и полным ходом помчался по Брестскому шоссе, или, как отметил про себя герр Кленфендаль, лег курсом на Киев.

Конечно, гораздо удобнее было бы ехать в солидном «Мерседесе», с чувством удовлетворения поглядывая на романтические украинские пейзажи, но инструкция высшего начальства предусмотрительно напоминала об осторожности, не лишней в этих краях. И потому герр Кленфендаль, в сущности, не жалел, что в завоеванную землю, к покорению которой он считал причастным и себя, въезжает на танке.

Во Львове герр Кленфендаль пообедал в небольшом ресторанчике, в окне которого на цепочке висела табличка с надписью: «Только для немцев». Украинский борщ, гуляш по-польски, бутылка отличного кавказского вина и настоящее «мокко» привели герра Кленфендаля в хорошее настроение. В целях безопасности, которой он никогда не пренебрегал, герр Кленфендаль расстегнул кобурку маузера и после обеда прошелся по городу. Разбитый бомбами пассаж, рассеченные пополам дома на улице Легионов, обесчещенный памятник Мицкевичу вызвали у герра Кленфендаля мысль: «Славно поработали парни».

Герру Кленфендалю Львов в конце концов понравился. Понравились ему и львовские женщины. Герр Кленфендаль переночевал во Львове, в номере роскошного отеля. Он позвонил в комендатуру и послал своего ефрейтора Франца привести девушку — настоящую украинку.

В своем дневнике — тоненькой книжечке, переплетенной в сафьян, — он потом записал: «Девчонку трудно было обуздать. Помог Франц. Потом долго плакала. Это мне надоело. Пришлось вытолкать в коридор. Франц, наверно, тоже позабавился».

Утром герр Кленфендаль покинул Львов. Приятели из местного гарнизона порекомендовали ему самый короткий и безопасный маршрут.

В Тарнополе позавтракали. Заночевали в Проскурове. Ночь герр Кленфендаль провел беспокойно. До самого

утра слышна была беспорядочная стрельба. Как выяснилось потом из разговора с комендантом, стреляли сами немецкие солдаты — на всякий случай, чтобы партизаны не подкрались. Плохое настроение герра Кленфендаля развеяла яичница из десятка яиц на ароматном сале. Потом он пил отличное молоко.

Повеселев после сытного и приятного завтрака, герр Кленфендаль сказал ефрейтору Францу:

— Каждый немец после войны будет иметь такой завтрак, а на обед курицу или даже гуся, а русская свинья, — герр Кленфендаль указал на окно, за которым оборванный крестьянин подметал двор, — каждая такая русская свинья будет с поклоном подавать немцу кушанья. Так сказал фюрер, и так будет.

— Хайль Гитлер! — крикнул Франц, вытянувшись и откинув в сторону сжатый кулак.

— Хайль Гитлер! — отозвался герр Кленфендаль. Он подумал было, что следовало бы встать в знак уважения к фюреру, но солидный завтрак сделал свое дело, и энтузиазм герра Кленфендаля ограничился возгласом.

Прежде чем сесть в танк, герр Кленфендаль осмотрел Проскуров. Улицы, окутанные дымом пожарищ, ему не понравились. Город походил на кладбище. Но, с другой стороны, это порадовало его. Чем меньше останется этих русских, тем лучше.

Танк выполз на дорогу и полным ходом помчался дальше по ровному Винницкому шоссе, обсаженному липами, минуя перепаханные снарядами села, где одиноко торчали обгорелые печные трубы — единственный след людского жилья.

Герр Кленфендаль крепко держал в руках портфель желтой кожи. В портфеле хранились важные документы. Закрыв глаза, он думал о своих делах, которые предстоит провести в Киеве, о «номерах», которые нужно собрать, проверить, может быть, кое-кого и обезвредить. Таким спокойным словом герр Кленфендаль определял расстрел или повешение.

Много дел ждало его в Киеве. На короткой стоянке, пока Франц набирал бензин, герр Кленфендаль, лежа под развесистым деревом, записал в свою книжечку:

«Моя миссия — через агентурную сеть создать впечатление заинтересованности Германии в украин-

ском национальном вопросе. В отделе меня считают специалистом по этой отрасли. Что ж, придется поработать».

Это несколько опечалило Кленфендаля. Но вскоре его развеселил Франц. В дневнике, вслед за предыдущим, герр Кленфендаль записал:

«Франц — чудесный организатор. За десять минут — 60 литров русского бензина, наверно из Баку, гусь, три молодых нежных цыпленка, масло и пара часов. За часы слегка пожурил, но в конце концов простил. Это не грабёж, а тотальная война. Владельцы часов, наверно, украли их в свое время у какого-нибудь помещика или барона...»

Танк двинулся дальше. В душе у Кленфендаля царил покойствие и уверенность. Перед ним открывался путь побед. В конце концов он покажет, на что способен. Много дней ожидал он этого мгновения. Его коллегам везло. Специалисты по греческому, словенскому, хорватскому, польскому вопросам быстро продвигались по служебной лестнице, получали кресты с дубовыми листьями, покупали роскошные виллы, держали по три автомобиля, а он до самого последнего дня, до 22 июня, жил на свой оклад, зубрил этот ужасающий дикарский язык, водился со всяким сбродом, мошенниками и трусами, убежавшими с Украины, копался, точно архивная крыса, в пожелтевших от времени документах еще времен оккупации, читал на память, выламывая язык, стихи какого-то Шевченко, который еще сто лет назад издевался над немцами. Но именно этот Шевченко и вывез герра Кленфендаля на генеральных испытаниях личного состава чиновников восточноевропейского отдела.

Генерал — о нем говорили, как о правой руке фюрера, — спросил его, какой моральный фактор агитации будет он применять и как выкажет симпатию к туземцам (именно так выразился генерал), территорию которых фюрер включил в великое немецкое пространство. Герр Кленфендаль козырнул стихами Шевченко и обезоружил генерала. Теперь, в недалеком будущем, все это пригодится. У него прекрасная память на людей и на даты. Закрыв глаза, он видит испуганное, растерянное лицо инженера Мякушенко под стройными колоннами беседки «Гораций» в Ольгейме. Он видит десятки дру-

гих лиц, и на всех их, как ему помнится, лежит прежде всего печать трусости. Им, как домашним псам, придется кинуть какой-нибудь лишний кусок. Пусть еще послужат, а потом обойдемся и без них.

«Зеленая папка» рейхсмаршала Геринга лежит в портфеле желтой кожи. В ней точно обозначены функции оккупированного Восточного края, и в контроле над осуществлением этих функций герру Кленфендалю отведено не последнее место.

«Железный крест» — теперь уже реальная перспектива.

Путь на Киев продолжается. Путь не короткий, но и не слишком долгий. Словом, именно такой, какой дает возможность хорошо все обдумать.

Из Винницы герр Кленфендаль отправляет письмо жене. Малютке Мицци он доверяет свои планы переустройства жизни украинского «быдла», обещает из Киева прислать подарки, а пока сообщает, что благодаря любезности местного коменданта, майора Карла Брунна, он посылает продуктовую посылку, чтобы его дорогая Мицци полакомилась украинским салом и прочими деликатесами. В последнюю минуту, когда посылка уже уложена, герр Кленфендаль добавляет в постскриптуме: Франц организовал полдюжины чулок, настоящий шелк, Мицци может щегольнуть своими ножками. Он посылает пять пар, одну дарит Францу. Франц — его верный слуга и неплохой парень. А что касается местного населения, то герр Кленфендаль заверяет Мицци: это дикари. В реке Буг они затопили тысячи тонн муки и сахара, чтобы не досталось немцам. Такого не бывало даже в Югославии. Отсюда Мицци может заключить, как трудно будет работать ее возлюбленному Гансу.

Жизнь майора Кленфендаля в Виннице, в отеле «Савой», была бы прекрасна, если бы ее не омрачило убийство полковника в переулке, возле штаба гарнизона. Полковника убила восемнадцатилетняя девушка. Коллега Карл Брунн пригласил герра Кленфендаля присутствовать на допросе, и он молча наблюдал за всеми способами, какими Брунн старался развязать язык девушке. Двое здоровенных гестаповцев на глазах у Брунна и Кленфендаля демонстрировали на пытаемой свою силу. Девушке загоняли под ногти иголки. Обес-

силенный ее упорством, Брунн бил ее металлической линейкой по щекам и требовал, чтобы она кричала: «Хайль Гитлер!» Девушка крикнула: «Да здравствует Сталин!»

Вечером девушку повесили перед зданием штаба.

Кленфендаль собирался записать: «Упорство этого народа граничит с фанатизмом», но решил сделать это позднее.

По дороге из Винницы, вблизи какого-то разоренного села, танк остановился. Ефрейтор Франц открыл люк. Герр Кленфендаль вылез из машины, расправляя онемевшие плечи. Тысячная толпа, окруженная автоматчиками, запрудила дорогу. Подошедший лейтенант отдал честь и доложил, что эти люди, жители окрестных сел, по приказу командования считаются пленными.

Герр Кленфендаль впервые в жизни видел такое множество украинцев. Легким движением вставив в правый глаз монокль, он внимательно разглядывал толпу. Сложив за спиной руки, прошелся вдоль рядов. На него смотрели сотни глаз, в них горела ненависть. Майор Кленфендаль ощутил это до неприятной дрожи где-то под ребрами. На всякий случай он расстегнул кобуру. Но в эту минуту Кленфендаль вспомнил, что в его функции входит агитация. Вот сейчас он продемонстрирует расовую справедливость нового немецкого порядка. Сейчас он покажет юному армейскому лейтенанту образец работы офицера корпуса «СС».

Ломаным русским языком, который, как ему казалось, должен был означать отборный украинский, он спросил:

— Жиды среди вас есть?

Герр Кленфендаль подождал и повторил вопрос.

Никто не отозвался.

— Украинцы? — спросил он тогда.

Толпа молчала. Тогда майор Кленфендаль решил перед толпой этих диких туземцев выказать свое доброе сердце. Он подошел к мальчику лет двенадцати и осторожно притронулся пальцами к вихрастой голове. Слезы засохли грязными потеками на искаженном отчаянием лице мальчика. Голая грудь, перекрещенная подтяжками штанишек, измазанная сажей, часто поднималась и опускалась. Мальчика звали Савка. Еще вчера у него была мать и сестричка Аленка. Немцы вошли в дом. Ткнули пальцем в фотографию. На ней отец в красноармей-

ской форме с орденом на груди. Савка любил эту фотографию. Он гордился ею перед другими мальчиками. Он знал, за что правительство дало отцу орден Красного Знамени. В школе учитель говорил: «Отец Савки брал Выборг, он — герой». А немец сорвал со стены фотографию, затоптал ногами. Савка кинулся к нему под ноги — и отлетел от удара ноги за порог, в сени. Потом, когда он, точно очнувшись после долгой болезни, вышел на улицу, он увидел арку у въезда в колхоз имени Тараса Шевченко, — обычно ее украшали ветвями елок и портретом Тараса в дни празднеств. Теперь на перекладине арки висели трупы, со странно вытянутыми ногами, высунутыми синими языками.

Среди них Савка узнал мать. На дороге лежала мертвая Аленка...

Савка смотрит на немца, который притронулся к его голове, и чувствует, как что-то тяжелое и холодное наполняет его сердце.

— Как тебя зовут? — ласково спрашивает немец и, когда Савка не отвечает, говорит: — Шевченко знаешь? Читаль?..

Герр Кленфендаль знает: сейчас он полонит сердца этих украинцев. Они убедятся, как уважает их национальное достоинство представитель фюрера на Украине. Он скажет маленькому дикарю несколько строк, — как оно там начинается...

— Садок... Гартен... Садок...

И пока майор Ганс Кленфендаль молчит, вспоминая, едкая боль утраты матери и сестрички, обида за растоптанную фотографию отца наполняют душу Савки. «Что он сказал про Шевченко? — думает Савка. — Что он спрашивал? Как он смеет? Ведь под портретом батьки Тараса повесили мать!..» А Тарас Шевченко писал — Савка знает наизусть:

...! на оновленій землі
Врага не буде супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.

И Савке хочется заплакать: теперь у Савки нет уже матери, и враг-супостат стоит перед ним. И Савке хочется сделать что-то такое, чтобы вот сейчас, в этот миг, не стало перед глазами поганого офицера, чтобы исчезли, как злой сон, мордатые немцы и чтобы все это

сделал он, Савка, и люди потом сказали: «Савка—герой», как учитель про отца сказал, чтобы отец похвалил, а может, расскажут про смелого Савку товарищу Сталину...

И лицо Савки становится по-взрослому суровым, щурятся глаза, и ярость, высокая ярость мести сводит до боли скулы. Он мгновенно наклоняется и, схватив с земли острый камень, изо всей силы швыряет его в ненавистное, мерзкое лицо офицера.

Звон разбитого моногля, отчаянный крик герра Кленфендаля, короткая очередь автомата.

Савка лежит, раскинув руки, лицом уткнувшись в камень шоссе. Голосят бабы в толпе...

Герру Кленфендалю делают перевязку. К счастью, глаз не поврежден. Хорошо, что этот маленький негодяй стоял близко, утешает лейтенант, а не то плохо пришлось бы господину майору.

— Расстрелять двадцать, тридцать, — брызжет слюной майор.

— Есть! — козыряет лейтенант.

Автоматчики прикладами выталкивают первых, кто попался под руку. Одним глазом, в котором горит злоба, Кленфендаль с удовлетворением смотрит, как падают люди.

Теперь он ни минуты больше не медлит. Он спешит в Киев. Он уже на практике узнал, как надо обходиться с местным населением.

В городе Казатин Франц уговаривал заночевать. Но майор не согласился. «Только вперед, доннер веттер!» думает герр Кленфендаль и подгоняет Франца.

Ефрейтор Франц не любил ночных поездок. Конечно, танк — не автомобиль, и партизанская пуля не угодит в затылок, но спокойнее ездить днем. Однако устав войсковой службы гласит: приказ офицера должно исполнять во что бы то ни стало. А в Киеве как-никак и его, Франца, ожидают магазины, девчонки и вино.

Франц выжимал из мотора максимальную скорость. Танк мчался лесом. Для спокойствия Франц нажал спуск пулемета-автомата. Кленфендаль одобрительно кивнул. Офицер и ефрейтор хорошо понимали друг друга. Но в то же мгновение танк подскочил, словно его что-то подбросило, повалился набок, и герру Кленфендалю

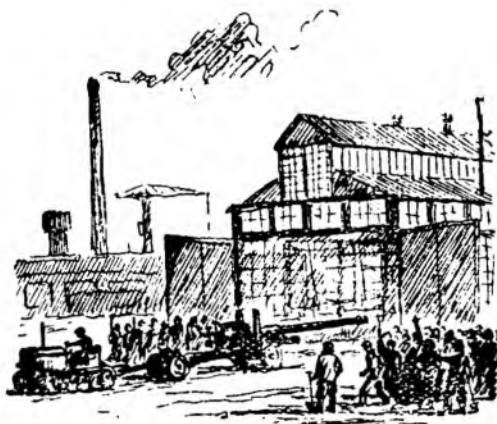
нечем стало дышать, словно кто-то набил ему в горло ваты, и он только успел подумать: «Майн готт...»

Спустя какое-то время он увидел вокруг себя людей в кожанках, перевязанных патронными лентами, и в руках у одного из них свой портфель желтой кожи и мог только простонать:

— Партизаны...

Герр Кленфендаль огляделся, как затравленный волк, и, встретив пристальные, суровые взгляды людей, окруживших его, потупился.

Круглая звезда сорвалась в синеве и покатилась по небу, оставляя за собой быстро исчезающий голубой след...





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Письмо из госпиталя

Валя Бритван, студентка Киевского университета, родилась и все свои двадцать лет прожила в Киеве. Валя была единственной дочерью у своих родителей. Отец Вали — профессор кафедры математики в университете; мать — преподавательница иностранных языков. В Киеве Валя жила на тихой Левашовской улице, куда раньше, чем на другие улицы города, приходит весна.

Отец колдует с логарифмической линейкой. Мать сквозь большие роговые очки просматривает письменные работы студентов по немецкому языку. Валя отложила в сторону роман Ричарда Олдингтона «Все люди — враги» и, перегнувшись через подоконник, задумчиво смотрит на кроны раскидистых ярко-зеленых каштанов.

В эту минуту на ее улицу, в ее комнату приходит непрощенным гостем война. И Валя, в первую минуту ошеломленная неожиданным известием, вскоре начинает понимать страшное и непоправимое горе, которое всем принесла война.

Война — это значит, что над красавцем Киевом, в чудесной синеве его неба, появятся вражеские бомбардировщики. Не осуществится задуманная поездка на парусной яхте по Днепру вместе с Миколой. Многие теперь не осуществятся в жизни Вали Бритван...

Валя редко видит теперь Миколу: он забегает на несколько минут, и то больше разговаривает с родителями. Отец говорит о всем происходящем с обычным спокойствием. Мать волнуется и сквозь слезы поглядывает на Валу.

Вале хочется в эти дни сделать что-нибудь необыкновенное, особенное. Хочется Вале, чтобы и Коля сделал что-то необыкновенное. И ей не нравится, что он все еще не в армии, все еще в штатском, тогда как многие из их общих друзей уже надели формы пилотов и танкистов. А один из них — пилот Вася Чумаченко — сбил над Киевом немецкий «Юнкерс». И когда Микола однажды приходит прощаться и рассказывает, что завод его выезжает в глубокий тыл, в далекий степной край, Вале хочется заплакать не то от обиды, не то от боли. А отец Вали снимает пенсне, долго протирает платком толстые стекла. Мать тихо вздыхает...

В тот вечер в саду перед домом Валя сидит на скамейке рядом с Миколой. Валин противогаз лежит между ними. Ночь окружает их бархатом густого чюньского воздуха. Задумчиво шелестят ветви тополей. Через несколько часов Коля уедет. Теперь в душе у Вали нет обиды. Она понимает: делать пушки — это тоже важное дело. Но она сама никуда не уедет. Никуда! Она останется в Киеве. Здесь она будет биться не на жизнь, а на смерть.

В эти минуты прощания, когда так взволнованно бьются любящие сердца, в ночном небе светлячками возникают опознавательные огни сторожевых самолетов, и Валя с Миколой вспоминают чудесные киевские весны, и золотой листопад осени, и совместные прогулки по Днепру, и высокую кручу Триполья, и еще многое, связавшее их большим и прекрасным чувством любви.

А слова, слетающие с их губ, коротки и жгучи...

В далекие края уехал Микола.

Вскоре уехали и родители Вали. Она осталась одна в трех комнатах на тихой Левашовской улице. Остались в шкафах любимые книги, тетради, дневники, вещи,

к которым привыкла и которые были в эти дни единственным утешением в горькой тоске.

...Так Валя встретила первые дни войны. И вот теперь она лежит в шестнадцатой палате госпиталя, обвязанная белоснежными лентами марли, и, медленно шевеля губами, выговаривает слова, которые старательно записывает девочка в пионерском галстуке, наклонившись над столиком.

Темная туча встает в небе. Валя наблюдает, как она ширится и растет, совсем заслоняя небольшой кусочек синевы, до сих пор развлекавшей ее.

Девочка пишет. Валя диктует. В госпитале — час послеобеденного отдыха. В далекий город, в далекие края уносятся мысли Вали. Видно, суждено им лететь далеко. И думает Валя о скамье в тени тополя перед домом на Левашовской улице, думает о Киеве, о матери, которая говорила:

— То, что немцы теперь издеваются над прогрессивными деятелями своей культуры, явление временное. Придет время — выбросят в мусорную яму Гитлера.

«Мама, мама, — хочется крикнуть Вале, — ты ошибалась, мама! Они — звери, немцы. Вот подожди, я расскажу тебе. Целое поколение зверей воспитали фашисты. Это изощренные убийцы, садисты, дикари. Их наука служит делу истребления людей, мама».

«Это после, — думает Валя. — Сейчас не об этом. Сейчас надо все сказать. Пусть девочка запишет». Еще недавно Валя тоже носила красный пионерский галстук. Это было совсем недавно. А вот теперь...

Серая туча, свинцовая туча закрыла небо. Пересохшим губам трудно шевелиться. Глаза у Вали сухие.

— ...Может быть, ты уже забыл, какая я. А может, еще помнишь. Коля, — шепчут губы Вали. — А я такая же, как и в Киеве была. Только сердце у меня стало суровое, мстительное сердце. В госпитале придется лежать долго. Так говорят врачи. Но это ничего.

«...И вот продолжаю. Теперь расскажу, кажется, самое главное. Мы залегли на огородах. Село в темноте белело хатками. Ветер приносил запах близкой реки. Командир наш сказал: «Если бы знать, где переправа, можно было бы попытаться перейти на тот берег. Там, наверно, наши». Я лежала недалеко от командира и слышала, как он говорил потом комиссару, что люди

в нашем подразделении из разных частей, они прорывались из окружения, и скверно, что он мало знает этих людей. Неизвестно, на что они способны. А главное, — сказал он, — очень плохо, что бойцы страшно утомлены.

Потом решили послать разведку в село. Командир назначил начальника разведки, и тот начал собирать добровольцев. Я тоже вызвалась идти. Командир сказал: «Куда ты пойдешь? Тебе трудно будет». Но я настояла. Начальник разведки, молодой лейтенант, отобрал десять человек. Мы поползли огородами. В селе было тихо. Мы удачно миновали село и очутились среди густого кустарника. Лейтенант выпрямился и затем командовал всем подняться. За кустами чернела река.

— Тут недалеко должен быть железнодорожный мост, — прошептал один красноармеец. — Я здешний и знаю...

— А кроме железнодорожного моста? — спросил лейтенант.

— Еще плотина есть, — ответил красноармеец.

Осторожно подвигаясь вперед, мы добрались до берега. Стояла теплая сентябрьская ночь. Тайнственно шуршал камыш. В молчании мы уселись на берегу, а лейтенант и красноармеец, сказавший про мост, прошли вперед. Скоро красноармеец вернулся за нами.

— Мост взорван, а плотина есть, — радостно сообщил он. — Пошли, хлопцы.

У плотины стоял лейтенант.

— Ложись, — командовал он.

И сам опустился на землю. Я лежала на покрытой предраассветной росой траве, и у меня было одно желание — заснуть, забыться глубоким сном под задумчивый шелест камыша. Мне стоило больших усилий не закрыть глаз. Ведь мы не смыкали глаз третью ночь. Немцы буквально охотились за нашим отрядом. И вот, если мы переберемся на тот берег, будет чудо. Кто-то все же не выдержал и захрапел; лейтенант растолкал его.

— Не спать! — приказал лейтенант. Затем он сказал: — Ну вот, а теперь надо добраться до наших и привести их сюда. Понятно?

Все молчали.

— Понятно, — отозвалась я.

Но лейтенант не обратил внимания на мой ответ. Казалось, не мой голос интересовал его. Тогда он, вглядываясь куда-то в темноту, жестковатым голосом спросил:

— Кто хочет добровольно вернуться назад к нашим и привести их сюда?.. Остальные будут защищать плотину с двух берегов, — пояснил он.

Никто не отозвался.

Тогда он спросил:

— Товарищи, среди вас есть коммунисты?

И снова никто не отозвался. Была напряженная тишина, и мне казалось, что только еще сильнее зашуршал камыш. Мне стало невыразимо тоскливо.

— Коммунисты есть? — повторил лейтенант.

И, когда никто не ответил, спросил:

— А комсомольцы?

— Я!

Голос мой, как показалось мне, прозвучал недостаточно твердо, и тогда я быстро поднялась и подошла к лейтенанту:

— Я комсомолка.

Еще два красноармейца поднялись вслед за мной.

— Так вот, товарищи, — сказал лейтенант, — вы пойдете назад и проведете этой дорогой весь отряд.

Мы молча двинулись. Не знаю, долго ли мы шли, но мне эти минуты показались бесконечными. Мы знали — надо быть чрезвычайно осторожными. Было известно, что в селе уже стоял немецкий гарнизон. Нашей группе, обессиленной и переутомленной, вступать в бой с численно не известным нам гарнизоном было совсем нецелесообразно.

И вот мы уже выбрались в долину, а дальше, за ней, лежали наши товарищи. Но в этот момент случилось невероятное. И теперь еще не могу я понять, как это вышло. Один из нашей группы оступился и упал, и винтовка, которую он держал наготове, выстрелила. Сразу все поле осветилось ракетами, и началась беспорядочная стрельба. Где-то совсем близко заговорил пулемет. Оттуда, где лежал наш отряд, тоже послышалась стрельба. От ракет стало совсем светло. Я видела, как немцы перепрыгивали через плетни и, перебегая, приближались к нам. Мы залегли и начали отстреливаться. Я сказала хлопцам:

— Кому-то надо остаться здесь и отвлечь на себя все внимание немцев, а одному проползти к командиру отряда.

— Ползи, — сказал мне хрипло парень. Лицо его, освещенное ракетой, было как бронзовое. — Ползи, товарищ...

Я видела, что по виску у него течет кровь. Третий наш товарищ, так неудачно выронивший винтовку, уже лежал мертвый, уткнувшись лицом в землю.

— Слушай меня, — сказала я голосом, не терпящим возражений, — ты поползешь. Я останусь тут. У меня автомат, видишь?.. Исполни приказ.

Парень выругался, но подчинился. Чтобы отвлечь внимание немцев, я отползла в сторону, ближе к плетням, и открыла огонь. Немцы перенесли огонь на меня. Просвистели первые мины. Теперь мне трудно восстановить в памяти все детали, все, что произошло в ту ночь, но когда небо озарил хмурый осенний рассвет, немцы увидели, что я одна, и пошли на меня в атаку. Две пули ударили меня в правую руку, а третья, как мне тогда показалось, в голову.

Последнее, что я тогда подумала: «Хорошо, живой не попаду в плен. Это — смерть...» Но так только показалось мне. Я осталась жива. Когда дневной свет проник в мои глаза, первое, что я увидела над собой, это рыжий сапог, пинавший меня под ребра, а уже потом обладателя этого сапога — немецкого солдата.

— Вставай, вставай! — крикнул он по-немецки. И для выразительности добавил по-русски: — Сейчас будешь иметь капут.

Я не встала. Тогда он поднял меня и с помощью второго втащил в хату. Меня прислонили к двери, как колоду. Обессилевшая от потери крови, я опустилась на порог. Должно быть, вид у меня был страшный. Старая бабка — она стояла и тряслась у печки — охнула и кинулась ко мне. Но солдат властно крикнул:

— Цурюк!

Он вылил мне на голову ведро воды и ударил кулаком по спине. За столом сидели два офицера. Они смотрели на меня и насмешливо улыбались. Один, с усиками, сказал младшему:

— Эта девчонка сейчас нам все расскажет. Главное — пообещать ей жизнь и оделать вид, что мы ее

жалеем. Она расскажет, куда пробрался весь их отряд. Ну, а потом можно будет ее повесить.

Офицер чистил обломком спички ногти и говорил с картавым баварским акцентом. Мне стоило больших усилий не показать ни одним движением, что я поняла его слова. Конечно, относительно своей участи у меня не было никаких иллюзий. Я знала главное — немцы в Киеве. И это было тогда для меня самым страшным. Но в словах офицера было и радостное для меня — отряд не попал в западню. Значит, я помогла своим товарищам пробиться.

Младший офицер пристально посмотрел на меня и показал мне пачку моих документов.

— Мы знаем о вас все, — сказал он по-русски, — и, в сущности, нас не интересует ваша биография. Эти документы вам больше не понадобятся. Хотя, — любезно улыбнулся он, — мы их оставим вам, как печальное воспоминание. Вы сможете вскоре вернуться в Киев: ведь вы киевлянка, как видно из вашего паспорта. — Он вынул из паспорта твою фотографию и спросил: — Это ваш жених?

Я молчала. Туман застилал мне глаза. Как страшно мне теперь, когда вспоминаются эти смертельно тяжелые минуты, и как безразлично было все тогда!

— Вы укажете, уважаемая барышня, — сказал офицер, — куда пробрался ваш отряд. За это мы вам подарим жизнь. Вы молодая девушка. Вы будете жить. Вернетесь в Киев. Если ваш жених там, выйдете замуж. Если его убили красные — для такой красотки, как вы, найдется муж среди германского воинства. Значит, вы скажете...

— Я ничего не скажу, — твердо, собрав все силы, перебила я офицера. — Ни слова не скажу! Я украинка и не изменю Украине. Я не скажу ни слова.

Офицер с усиками злобно ударил кулаком по столу. Мои последние слова он, как видно, хорошо понял.

— Будет с ней болтать! — крикнул он по-немецки. И, уже обращаясь ко мне, гаркнул: — Я тебе показывал сейчас, украинська звиня! Отто!

— Я здесь, герр обер-лейтенант! — Со мной рядом вырос здоровенный фашист, тот, что приволок меня в хату.

— Развяжи этой сволочи язык.

— Слушаю, герр обер-лейтенант.

Дальше я уже ничего не помню. Меня били долго, зверски. Издевались, как могли. Но я не проронила ни слова. Я молчала. Я закусила губы, чтобы не кричать от боли. Тогда немец грязными пальцами стал раскрывать мне рот. Я укусила его за руку. Он ударил меня кулаком по голове, и я потеряла сознание.

Это еще не был конец. Едва я очнулась от вылитой на меня воды, они оттащили меня в погреб и сказали:

— Мы даем тебе время до утра. Не скажешь — замучаем.

Я молчала. Я лежала в темном холодном погребе, и мне казалось, что я уже в могиле. Я знала — спасения ждать неоткуда, и я молила смерть, чтобы она пришла ко мне. Я была уверена, что ожидать ее прихода осталось недолго.

Однако, как всегда случается в такие минуты, смерть не торопилась. Я лежала ничком на земле, не в силах пошевелиться. Единственное, что я могла делать, это думать. Мысли мои были свободны. И я почему-то вспомнила школу и детство, как мы говорили про войну и как все в один голос заявляли, что нет более славной смерти, чем смерть за родину. Это воспоминание принесло мне странное спокойствие. Такое странное, что мне отчасти стало не по себе. Что же это творится со мной? Неужели ни пытки, ни смерть не страшны мне?

Вспомнила я нашу первую встречу. Вспомнила родителей, друзей. И все мне показалось давно прошедшим и очень далеким. Я поняла, что это конец.

Но конец не приходил. Ночью случилось самое страшное: солдаты меня изнасиловали. Утром на другой день меня, полумертвую, вытащили из погреба и повели куда-то через село. Село выглядело, как после землетрясения. Немцы хозяйничали во дворах. Ни одной живой души из наших я по дороге не встретила.

Меня привели на площадь. Посреди площади, окруженная толпой напуганных женщин, стариков и детей, стояла виселица. Ветер раскачивал веревку на перекладине. Ноги у меня подкосились, но я собрала всю волю и все силы и сохранила спокойствие. Солдат подтолкнул меня к виселице. Тот, который допрашивал меня вчера, влез на табуретку.

— Свободные украинцы! — крикнул он перепуганной, окруженной автоматчиками толпе. — Армия фюрера Гитлера принесла вам новый порядок. Всех, кто против этого порядка, мы казним. Эта девушка, — он ткнул перстнем мне в лицо, — партизанка. Она отказалась выдать злоумышленников-партизан, и, если и сейчас не признается, мы ее повесим у вас на глазах, чтобы все видели, как германская армия будет расправляться с партизанами.

В толпе кто-то не выдержал и заплакал. Солдаты занесли над головами людей приклады. Офицер спросил меня, буду ли я отвечать. Я молчала. Тогда он наотмашь ударил меня кулаком в лицо, и я упала навзничь. Он приказал поднять меня. Двое солдат держали меня за плечи. Офицер стоял передо мною, и пена мелкими пузырьками выступила у него на губах.

— Я спрашиваю тебя: ты заговоришь, сволочь?

Силы совсем оставили меня. Я не могла пошевеливаться. Глаза мои видели десятки лиц, сочувственные взгляды. Слезы текли по щекам женщин. «Сердечная, ой, лышенько!» простонала одна, совсем близко от меня, и я поняла — мне надо что-то сказать. Не ему, гнусному немцу, а этим людям. Я напрягла все силы и крикнула хриплым голосом. И когда я кричала, в груди у меня что-то разрывалось и в глазах темнело.

— Люди, — кричала я, — бейте их, проклятых фашистов! Не будет Украина немецкой рабою. Не будет...

Офицер шагнул ко мне, выхватывая револьвер, но в тот же миг отшатнулся и поднял голову кверху. И все стали смотреть вверх и начали разбегаться. И я тоже подняла голову, хоть шея у меня точно окаменела и мне за минуту до того казалось, что я уже никогда не увижу неба. Совсем низко, на бреющем полете, прошли краснозвездные наши «ястребки». Немцы разбежались, а я стояла и махала руками, и изо всех сил кричала, точно пилоты могли меня услышать.

Должно быть, они меня заметили. Они открыли пулеметный огонь по немцам, и те залегли в кюветах, по обе стороны дороги за площадью. Внезапно мысль о спасении молнией пронзила мой мозг. Я могла спастись! Больше я не раздумывала. Я упала на землю и вползла во двор сельсовета. Я оглянулась — вокруг никого не

было. Какой-то старик вдруг появился из-за дерева и поспешно сказал:

— Скорей, дочка, за клуню. Там тебе помогут...

Я послушала деда. За клуней две женщины подхватили меня под руки. Я потеряла сознание. Эти женщины, жены красноармейцев, рискуя жизнью, спасли меня. Где они теперь и что с ними? Никогда не забуду я их. Никогда! Они на руках вынесли меня к пруду и спрятали в камышах.

Трое суток прятали меня в густом камыше. Немцы обыскали все село. Кто-то пустил слух, будто советский самолет приземлился и подобрал меня.

Все, что было потом, трудно описать. Я отлежалась, и едва только смогла идти, хоть сил у меня было очень мало, пошла. Я шла ночами. В каждой сельской хате, куда бы я ни постучала, мне давали приют. Меня тайно переводили из села в село. Моими проводниками были деды, старухи, маленькие дети. Я видела много горя, много слез, тысячи повешенных, расстрелянных.

Я шла дорогой смерти, и волосы мои поседели.

День, когда я увидела первого красноармейца, был днем моего второго рождения.

Вот и все.

Для чего я пишу тебе об этом? Не знаю. Но чувствую одно — ты должен знать это. И все должны знать. Среди ночных скитаний встретился мне один человек. Он из твоих мест. Знал твою мать и сестру. Он рассказал, что мать твою немцы расстреляли, а сестру забрали в публичный дом. Зовут этого человека Дудко Семен. Он тоже был в немецком плену и бежал из концлагеря. Мы потом вместе с ним пробирались к нашим. Он говорил, что знает тебя еще с детства и что ты парень хороший, «наш», как он сказал. Хоть отец у тебя враг, но ты был против отца. И сестра твоя была чудесная комсомолка. И мать хорошая женщина. Мы с ним подружились. И мне приятно было говорить с человеком, который знает тебя.

Вот я, кажется, обо всем тебе написала. Третий день диктую это письмо пионерке Зое. Она читает мне книжки и газеты. Взяла шефство надо мной. Она тебе покажет это письмо. Не знаю точно твоего адреса, но, надеюсь, письмо дойдет до тебя.

Когда-то мы мечтали о мужестве, и вдруг жизнь сде-

дала нас мужественными. После госпиталя я поеду на фронт. Мне очень хотелось бы повидать отца и мать, встретиться с тобой. Но пускай это все будет после войны, после нашей победы, в Киеве... Единственное, о чем хочу просить тебя, — отомсти за меня, Микола...»

Письмо положено в конверт. Пионерка Зоя опускает его вечером в синий почтовый ящик. Письмо адресовано в Москву, в Народный комиссариат вооружения, на имя инженера артиллерийского завода Николая Стецюка.

Письмо придет в Москву через несколько дней. В наркомате его получит управляющий делами. Он взглянет в картотеку учета кадров и переадресует на город Н.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТА

Петр Иванченко протаптыкает себе дорожку

Последние дни сентября. Липкие паутинки кружатся над травой. Торопится осень, золотит листву дерев. Напеваает осень невеселую песню. И грустно людям, сидящим в красных товарных вагонах, на открытых платформах. Мчатся эшелоны на восток. На восток по шоссежным дорогам бесконечной цепью тянутся колхозные стада, ползут тысячи тракторов, хрипят грузовики, перегруженные зерном.

Взглядом, в котором смешались удивление и злоба, зоотехник Петр Иванченко лихорадочно следил за этим неустанным потоком.

Тучи пыли плывут над дорогами. Молчаливые и строгие, идут и идут тысячи людей — женщины, старики, девушки, детвора. Монотонно скрипят телеги; тянутся полтавские решетчатые возы, высокие херсонские арбы, одесские мажары. Рогатый скот сплошной стеной заполнил дорогу.

И всё так — в одном порыве — из Киева и Харькова, из Одессы и Полтавы, из Николаева и Херсона. И все на восток. Ночью приклонит голову к земле для короткого отдыха усталый пешеход и слышит: гудит земля. Будто вся Украина с места сдвинулась...

Немалый путь проехал зоотехник Иванченко. Набрался страху. Но чем дальше оставалась Украина, тем

больше смелел он. Одно вызывало гнев: всё сплошь вывозят из Украины: скот, хлеб, машины. Мать моя! Да что же это будет? Грызла Иванченко тяжкая обида, неудержимая злоба к этим людям. Ненавидящими глазами глядел он на них. Осторожно вступал в разговоры. Искал щелочек, куда бы незаметно кинуть свое ядовитое словцо, посеять сомнение.

На одной из станций влез прямо в толпу крестьян, грузивших племенной скот в вагоны. Крестьяне толковали о немцах. Поминали восемнадцатый год. Он намекнул:

— Всю Европу покорили немцы. Трудно с ними справиться.

— А ты думал, легко? Ишь, какой! — сказал седобородый мужик. — Только в Европе Гитлеру-то легко было, а у нас он споткнется... У нас ему со всем народом придется воевать. Народ, человеке, да еще такой, как наш, Гитлер не поборет. Вот тебе крест!

Иванченко не стал спорить. Он незаметно выбрался из толпы. И чем дальше уносил его поезд, чем больше входил он в круг жизни, тем острее ощущал единство и слитность людей, окружавших его. И он решил быть крайне осторожным.

Давно позади остался Киев. Не везло Иванченко. Выехал трест на восток, в глубокий тыл, и теперь он должен догонять его. На станциях, добываясь места в вагоне и билета, он размахивал над головой своими удостоверениями, теперь уже довольно потертыми, и настойчиво доказывал, что в такое время он не может даром тратить дни, а должен быть при деле. Он не какой-нибудь зоотехник, а специалист, и его ждут...

Хитрость Иванченко давала свои результаты. Часто он добывал билет без очереди и, пересев на другой поезд, снова продвигался вперед, все ближе и ближе к цели своего путешествия.

Чтобы замести все следы, Петр Иванченко, он же Максим Стецюк, минует город Н. и прибывает на ближайшую к нему станцию не с запада, а с севера.

Он выходит из вагона на станции Ясной. В город Н. отсюда идут рабочие поезда. Рабочим поездом приезжает в город Иванченко. В тот же вечер он добирается в междуречье, на завод. Холодный осенний дождь немилосердно хлещет ему в лицо.

Он останавливается на перекрестке, зорко оглядываясь. Мимо, разбрызгивая грязь, проносятся грузовики, телеги тархтят по острым камням шоссе, торопливо проходят люди, сосредоточенные, озабоченные и, как кажется Иванченко, чересчур внимательные к его особе.

Заметив это, Иванченко идет дальше и, пройдя шагов сто, спрашивает первого встречного, как ему добраться до конторы завода, — там ему нужен инженер Мякишев.

Иванченко неприятно поражает, что человек в грязной одежде, с испачканными мазутом руками, прежде чем ответить, осведомляется, зачем ему этот инженер и откуда взялся Иванченко на территории завода. Внимательно выслушав неторопливые объяснения Иванченко, рабочий указывает ему, как добраться до конторы.

В конторе Иванченко спрашивает, в каком доме живет Мякишев. Девушка в синем берете тоже не сразу дает ответ. Проверив документы Иванченко, на клочке бумаги пишет номер дома и квартиры. Она уже не так сурова, как тот рабочий, и на низкий поклон Иванченко отвечает приветливой улыбкой.

И вот между третьим и четвертым часом ночи в доме № 6, что во втором жилом квартале, в квартире № 4, происходит то событие, которого с дрожью в сердце, с чувством страха и боли долгие годы ждал Митрофан Игнатьевич Мякишев. Окно плотно закрыто шторой. Мигающая лампа под зеленым абажуром освещает большую, заполненную беспорядочно расставленными вещами комнату. На голых белых стенах сливаются в одну чудовищно увеличенные тени Мякишева и Иванченко.

В комнате напряженная и тревожная тишина. Слышно, как дождь выстукивает по стеклам свою однообразную невеселую скороговорку. За стенами, за окном, за дверью — всюду все чужое.

Мякишев бледен и растерян. Руки беспокойно комкают газетный лист. Неприятный холодок пронизывает все тело, и он не может скрыть нервно трясущейся челюсти. Но, опустив веки и протирая кусочком замши пенсне, он думает все о том же и, чтобы нежданный гость не услышал, как стучат зубы, крепко, до боли, прикусывает губу.

Петр Иванченко спокойно сидит в удобном плетеном кресле. Все идет, как надо. Теперь ему не о чем

беспокоиться. Он спокойно покуривает папиросу, гостеприимно предложенную хозяином, и, прищурив правый глаз, как бы исподтишка наблюдает за Мякишевым. «Видать, человек — не первого сорта, — приходит он к выводу, — но теперь уж не выскользнет. Все в порядке. Все, как хотелось господину майору. О, Максим Стецюк теперь начнет настоящую работу!»

Перегнувшись через подлокотник кресла, погасив о край стола папиросу, он хрипло шепчет на ухо Мякишеву:

— Не сомневайтесь, Митрофан Игнатьевич, все идет как по-писанному. И скоро им каюк, — указывает он рукой на окно, завешенное шторой. — Теперь им не выкрутиться.

Он тяжело переводит дыхание, точно ослабев от непосильного груза, который пригибает его к земле. Ловит жадно раскрытым ртом воздух и еще ближе наклоняется к Мякишеву и шепчет ему в ухо о своих планах, чувствах, делает признания, которых долго никому не поверял.

— Теперь уж им край, — шепчет он, — конец! Нет, теперь уж они головы не подымут. Какая сила на них пошла! Какая сила! С такой силой им не справиться. Вся Украина, Беларусь, Молдавия — все забрано. Все под немцем. Вот кто настоящий хозяин! Вот кто пановать будет! И мы с ним. А как же! Слышите, Митрофан Игнатьевич?

— Прошу вас, тише, — предостерегающе поднимает руку Мякишев. — Прошу вас...

— Я тихо, тихо. Но не могу. Не могу, Митрофан Игнатьевич! Долго, слишком долго молчал. Это не я, это моя ненависть говорит, — она кричит. Я вам много про себя сейчас не скажу: не время, да и нужды нет. А потом, со временем, узнаете — уважать будете.

— Понимаю, понимаю вас. Думаете, у меня на душе не так горько? Эх!..

Мякишев, вскочив с кресла, подбегает к окну. Выдернув из розетки штепсель, он отбрасывает штору и припадает лбом к сырому, холодному стеклу. В первую минуту он ничего не видит, но затем из ночной мглы ему в глаза брызжут переливчатые, слепяще-яркие огни далекого завода, и он ясно слышит неумолимое и торжественное движение машин; оно побеждает дождь и ветер и наполняет собой тревожную, дождливую

осеннюю ночь. Он еще ничего не решил, еще ничего не знает, он еще не услышал, что потребует от него этот человек, он еще не удостоверился окончательно, что именно этот человек — посланец Кленфендаля, но все это уже стало второстепенным и незначительным, ибо он уже понял: именно этот человек поведет его за собой, и он будет подчиняться его требованиям и будет делать все, что тот скажет. И произойдет это потому, и исключительно потому, что этого давно жаждало его существо.

Тоскливо вызванивал дождь на стеклах, тоскливо насвистывал ветер. Но Мякишев уже не обращал на это внимания, — он перешагнул через свои сомнения, как через порог, подавив в себе последние крохи осторожности. Опустив штору, он включил свет и, уже успокоенный, точно обновленный, полный решимости, подсел к Иванченко.

И в ту ночь Максим Стецюк, резидент немецкой разведки, и Митрофан Игнатьевич Мякишев быстро договорились, наметив для своей деятельности то, что считали наиболее нужным и возможным.

Долговязая фигура майора Кленфендаля незримо присутствовала в комнате и как бы прислушивалась к шопоту заговорщиков...

А на другой день Петр Иванченко уже работал в детском интернате вахтером. Интернат был создан недавно, всего три недели назад. В нем жили дети, которых война сделала сиротами. Восемь девочек и четырнадцать мальчиков. Все они очутились в разное время на вокзале города. Эшелоны, в которых они ехали с родителями и родственниками, по дороге нещадно бомбили. Первых двух, мальчика Миколку и девочку Раду, из Конотопа, подобрал на перроне Высокос. Посадил с собой в машину и привез на завод. Два дня жили они у старой Макарьевны. За делами Высокос почти забыл о них. Но вспомнил как-то вечером, посоветовался с Гарайчуком, и они решили организовать интернат.

Степан Шульга, присутствовавший при этом, предложил:

— Моя Матрена Семеновна хорошей воспитательницей будет. И старухе утешение. Хорошее дело задумали...

И вот в этот интернат и был устроен через завком Петр Иванченко.

Секретарь завкома, суетливый и веселый парень, ни о чем не спрашивал Иванченко, ничем не поинтересовался. Он даже забыл имя того, кто звонил ему и просил устроить эвакуированного гражданина Иванченко. Интернату нужен был сторож. Одна бабка Шульжиха не управится — это основное, так думал секретарь завкома. Он что-то написал на клочке бумаги, потом раздумал, сомкнул, наклонился, ища корзинку, не нашел и выбросил бумажку в открытую форточку. В конце концов к чему эта бюрократическая писанина? Пусть товарищ Иванченко идет и принимается за работу. Деткам дров нарубит, и все такое прочее. Одним словом, полный порядок и аккуратность, а то в интернат иногда заглядывает сам директор, товарищ Высокос. И точка. Товарищ может идти. И секретарь ткнул измазанную чернилами руку Иванченко.

В интернате Иванченко чувствовал себя, как на острове. Вокруг бурлила чужая, враждебная ему жизнь, а здесь, за невысоким забором, в просторном деревянном доме, детвора шумела, училась, играла. Он присматривался недобрым глазом к этим детям, ощущая вражду к ним. Обязанности у него были несложные: дров нарубить, воды привезти несколько раз на день, печи истопить, двор подмести, а потом все время—твое. Сиди, молчи, думай. Старая Шульжиха экономкой была, и еще одна — Анна Власьевна, жена инженера — воспитательницей. Вот и все взрослые. Дети умные, ко всему любопытные, не по летам рассудительные. Сидят за столом, обедают; вдруг вздохнет кто-нибудь, заплачет... Иванченко наблюдал за ними, и в эти минуты какая-то тревога наполняла его душу.

Он носил воду. Дети постарше предлагали:

— Дядя Иванченко, дайте поможем.

Или, когда дрова колол, просили:

— Дядя, дайте пилку, попилим.

Он сердито покрикивал:

— Геть, не крутитесь под ногами.

Матрена Семеновна Шульга замечала ему:

— Ты на них не кричи. Ведь сироты, сердечные. Смотрю я на тебя, и что-то ты мне не нравишься,

Иванченко. Уж ежели человек в твои годы детей не любит, злой тот человек...

Он деланно улыбался и заговаривал о каких-нибудь пустяках. А по ночам долго не спал. Все обдумывал, возвращался мыслями к прошлому. Знал одно: надо быстро действовать, надо ускорить то, что требовалось от него...

В воскресенье, на вторую неделю своей работы в интернате, он отпросился в город. В очереди возле пивной незнакомый человек сунул ему в карман записку. Он положил левую руку в карман, стиснул в кулаке бумажку...

Ночью постучался в окно к Мякишеву. Отдал мокрую от потной руки записку.

— Ну вот, есть работа... — сказал Мякишев, криво и неопределенно улыбаясь.

В ту ночь Иванченко уже не спал до рассвета. Ветер за окном рвал жалкие кусты сирени. Потолок плыл перед широко раскрытыми глазами, казался широкой дорогой... А рядом с ним, всего какая-нибудь верста или полторы (он уже хорошо знал тот дом и то окно), жил его сын — Микола Стецюк, инженер. Коммунистом стал, хитрит, а может и вправду... Мысль ужалила, как пчела. Опять колыхался над ним потолок. Спросить бы, глянуть в глаза. Он как-то попробовал. Встретились случайно на площади, перед конторой, Микола из машины выходил. Скользнул глазами, как по пустому месту, прошел и исчез в дверях конторы. А вот сейчас пойти, постучать, нагнуться над его постелью. Сказать: «Я пришел, сын». Яблоко от яблони недалеко падает. Помощь сына пригодится. Большая это будет помощь!..

Иванченко вытирает простыней потный лоб. Ночь наваливается на грудь тяжелым грузом тревог и сомнений. Нет! Не пойдет он к нему. Еще не время...

Утром, поднявшись, бежал на кухню. Прижавшись к косяку, с нескрываемой надеждой смотрел на черную чашу репродуктора. И, когда голос в репродукторе говорил о том, отчего печально вздыхали Анна Власьева и старая Шульжиха, он опускал глаза и тоже вздыхал. Поворачивался, быстро уходил из кухни, а сердце в груди прыгало радостно, земля под ногами гудела.

Город за городом выskalзывал из их рук. Вот это—да!
Вот это дело!

Он с сердцем колот дрова, и ему казалось, что под его топором не поленья, а Дудко, Свирид Маковой, Омельченко — все те, кто на него руку поднял, из жизни вымел, выгреб, точно навоз...

Топор так и впивался в древесину, а он крикал и ухал с наслаждением и удовольствием.

Дети окружали его кольцом. Он грозно предостерегал:

— Берегись!

Мальчик Денис, восьми лет, деловито и с увлечением сказал:

— Эх, так бы, дядя Иванченко, фашистов топором — раз, и пополам.

Дети радостно зашумели. В ладоши хлопнули. Глазетки блестели мстительным огоньком.

Топор на лету замер. Потом упал тихо, еле вгрызся в древесину. Иванченко поглядел на Дениса исподлобья, спросил его, откуда он, кто отец, мать.

— Из Шишаков, из-под Полтавы, — пояснил мальчик. — Батяка в партизанах, мать и сестру немцы повесили.

Денис говорил о своем горе, как взрослый, только губы кривились и голос у него дрожал.

Дети понурились.

Он выдернул топор и с сердцем кинул:

— Ступайте, дети, отсюда, не мешайте.

...И снова ночью плывет над ним потолок. Снова окружают мысли, теперь уже ясные, чем он будет полезен господину майору. Нечего сказать — трудное дело. А разве легким откупишься? Мякишеву, известно, легче. Мякишев на бумажке карандашом вычертит, а черное дело ему, Стецюку, делать.

В воскресенье снова был в городе. Снова принес, но уже не записку, а пакет, тяжелый, в мешке, заштопанном, грязном. Взвалил на плечи и понес. Таких мешков, поздно ночью, два принес. Грабарю, который подвозил его, сказал:

— Картошка, чорт ее дери, никудышная. Разве тут, в этом краю, картошка! Вот на Украине — да!

Грабарь сплюнул сквозь зубы, ответил:

— Земля, человеке, в нашем Союзе скрозь добрая. Люди неодинаковые... Люди разные бывают... Это понимать надо... А картошка — что: картошку и немец любит...

И он уже ничего не мог сказать этому человеку. А, говоря по правде, думал, может, условиться с ним о «деле». С виду грабать, как грабать, лет пятьдесят пять ему, родом с Украины, еще в 1904 году переехал сюда, а души коснулся — опасно. Замолчал. Чтобы тот часом чего не подумал, засунул руку в мешок, достал картофелину, покатал на ладони перед глазами грабара: «Мизерная какая, глянть». И по-хозяйски снова спрятал в мешок.

...Ночь осенняя длинна, как бесконечная дорога. Идешь этой дорогой незнакомой и не знаешь, где приют тебя ожидает, куда попадешь... А идти надо. Такая доля. Не свернуть с той дорожки, не остановиться. Шагай — и все.

Мякишев тоже не спит. Напрасно Максим Стецюк думает: «Что Мякишеву? Его дело чистое...»

Мякишев сидит, согнулся над письменным столом. Свертки чертежей лежат перед ним. Лампа из-под зеленого абажура льет свой спокойный свет. В комнате тепло, тихо. Спокойно. Шторы подняты. С улицы за-подалым прохожим видно: инженер Мякишев сидит далеко за полночь и работает. Проходит мимо окна Остап Гарайчук, идет Микола Стецюк, ползет вдоль грязной улицы «плимут» Высокоса...

Высокос всего несколько дней, как вернулся из Москвы. Он еще полон мыслями о Москве. И сейчас думает о ней в машине, возвращаясь с пристани. Освещенное окно привлекает взгляд. Узнает согнутую фигуру инженера Мякишева.

Инженер Мякишев не спит. Он на своем посту. Всегда. Днем, ночью, утром. Вот он какой, инженер Мякишев! Но то, что лежит перед ним на столе, в эти минуты для него чужое и далекое.

Не это привлекает его мысли. Мысли его прикованы к другому. Бессильная злоба разрывает его сердце. Как ни говорите, а завод уже входит в строй. Уже грузят на платформы камуфлированные грязноватых-рыжими полосами орудия. А вскоре пустят сборочный цех, тогда не несколько платформ, а десятки, по два,

по три раза в день будут выходить из завода. Хорошо им (даже наедине с собою он не хочет называть по имени тех, кто управляет теперь его мыслями и поступками), хорошо им требовать, приказывать!.. Но затем другая мысль утешает Мякишева, приносит какое-то, хоть временное, спокойствие, какую-то минутную радость. Короткая передышка. Уже и это хорошо. У Мякишева нет сомнений в конечных результатах, к каким он надеется притти победителем.

Погасив свет, уже под утро он ложится, но долго не засыпает, все думает о беседке «Гораций» в Ольгейме, о жене, оставшейся в Киеве, о Высокосе, о Сулаке, и ему кажется, что мозг его разорван на тысячи нитей и что конца не будет его тревогам и страхам.

Марк Емельянович Высокос, подъехав к конторе, поднимается к себе, в свой кабинет. Он заглядывает в соседнюю комнату. На столе под салфеткой стынет ужин. Он выпивает стакан холодного чаю тремя-четырьмя глотками. Потом для чего-то разбивает ложечкой нерастаявший сахар и возвращается в кабинет. Часы на стене спокойно, рассудительно отсчитывают секунды. Удобнее усевшись в кресле, Марк Емельянович просматривает пачку телеграмм, лежащих на столе. Короткие отрывистые фразы, на первый взгляд лишённые смысла, цифры, требования, приказы. Красным карандашом косо через желтые листки телеграмм он пишет ответы. Он спокоен. Ритмическое дыхание завода долетает сквозь стены кабинета. Это хорошо. Разве можно желать лучшего? Еще несколько дней, и он сдержит слово, данное правительству. В долине между реками подыметя красавец и гордость его — сборочный цех. Это будет подлинная победа. Он сказал в Москве наркому: «Цех построим в срок. Слово, которое мы дали Председателю Государственного Комитета Оборона, будет выполнено».

...Прочитаны телеграммы. Написаны ответы. Марк Емельянович с удовольствием вспоминает — его конструкцию пушки-миномета нового типа комиссия экспертов признала эффективной. В конструкторском бюро Сулак уже осуществляет ее на практике. Высокос ощущает радостное, приятное удовлетворение. В эту ночь, холодную ночь поздней осени, Высокос снова пе-

реносится в прошлое. Он сидит на кровати, в соседней с кабинетом комнате, полураздетый, и держит в руках две фотографии — Жени и Игоря. Два родных, близких, дорогих лица. А как далеки они от него! Что с ними? Вздыхая, кладет фотографии на столик у кровати. Уже накрывшись одеялом и погасив свет, он, точно вспомнив что-то, снова нажимает кнопку выключателя и снова берет в руки фотографию жены и сына. Что с ними? Где они? Живы ли? Тяжелые предчувствия мучат его. Он гонит их от себя усилием воли.

Но спит Высокос беспокойно. Он видит во сне: широкий, зеленый, весенний луг, опоясанный узкой речкой. Он идет по берегу этой речки, а Женя идет ему навстречу, но по другому берегу. Наконец они встречаются, и что-то говорит ему Женя, но ветер относит ее слова. И дед Саливон говорит: «Переплыви речку». И он послушно бросается в воду, но противоположный берег, как в сказке, все отодвигается от него и отодвигается, и фигура Жени все уменьшается и уменьшается и вдруг совсем исчезает.

...А в эти минуты, когда Высокос спит беспокойным сном, сын его Игорь лежит на спине в неглубокой траншее, вглядываясь в синий океан южного неба. Он наблюдает, как, словно переговариваясь на каком-то им одним знакомом языке, перемигиваются крупные звезды, и слушает, как где-то, совсем близко от окопов, шумит море. Наслаждение тишиной и покоем этих коротких минут отдыха после жестокой битвы переполняет его усталое тело, и ему хочется только одного — только забытья, тишины, ни о чем не вспоминать, ни о чем не думать. Ветер с гор приносит пьянящий запах, похожий на дорогой напиток, и он с чудесной легкостью полной грудью вбирает в себя этот воздух.

В эти минуты он не вспоминает о родном доме и о близких людях, и о всем том, что носит неизменно в своем сердце и о чем никогда не забудет. Он ощущает каким-то мощным, властным, подсознательным чувством, что не совершает ничего плохого, погружившись в приятное недолгое забытье...

Смерть стоит у изголовья

Аес в позднюю осень стонет на ветру, поскрипывает верхушками деревьев, темных от дождя, одним порывом стряхивая с ветвей своих черных, точно обгорелые ключья, зловещих грачей.

Доктор Евгения Высокос сидит в землянке. Дорожка к землянке выбегает из чащи через глубокий овраг, между желтыми лишаями трясины. В землянке тихо и тепло. Глиняная печь пышет теплом и манит к себе. Раненые партизаны дремлют на соломе. Евгения Высокос поочередно наклоняется над каждым, прислушивается к тяжелому, прерывистому дыханию. Все спокойно. Она садится на самодельную табуретку, опирается локтями в вкопанный в землю стол. На полочках, устроенных в стене, тускло поблескивают бутылки с лекарствами, длинные белые склянки. Накинув на плечи кожушок, сидит Евгения Высокос за столом, погруженная в тревожные думы. Ей слышно, как шумно и беспокойно мечется ветер в лесу, и тревожная его песня наполняет сердце Евгении еще сильнейшей болью и негаснущим огнем отчаяния.

Второй день, как партизаны ушли. Второй день их нет. Одна Евгения в землянке, где лежат раненые, да несколько дозорных в секретах стерегут потайную партизанскую тропу.

Исхудалое лицо Евгении озарено неровным огнем светильни. Серебристые пряди волос падают на лоб. Скрестив под подбородком руки, Евгения думает о далеких днях покоя, о молодости своей, о сыне, о муже.

Две глубокие, две строгие морщины пролегли над переносьем. Потрескавшиеся губы шевелятся беззвучно. Сердце бьется в груди, замирает, ощущая какую-то неясную злую тревогу.

...А партизан нет. Евгения и эту ночь не будет спать. Сидит за столом и ждет. Так легче. Можно думать, вспоминать, перекидывать мост в будущее. Можно вести долгие, бесконечные разговоры с Марком, с Игорем. Можно укорять судьбу или умиловать ее добрым словом и ждать от нее ласки.

Горе стоит за спиной Евгении Высокос. Горе черны-

ми крылами тьмы и мучительных смертей распростерлось над Украиной.

...А партизан все нет. Плывут минуты. Она, кажется, слышит этот бесшумный полет времени. Разве ей привыкать к этому? Сколько уж дней прошло! Сколько горя обрушили они на ее плечи! Память разматывает бесконечный клубок воспоминаний. Память толкает ее назад, в один из сентябрьских вечеров, в пекло первого крупного боя, когда она ползла по горячей, истоптанной людскими ногами земле, вынося на своих плечах раненых, и когда после боя продымленные, покрытые пылью, усталые партизаны с чувством безграничного уважения пожимали ей руку. Тогда, переползая с места на место, она ни о чем не думала, ни о чем не заботилась. Каждая минута имела только одну цель, один смысл — подползти к раненому, вынести его за линию боя, а там... Что будет потом — это ее не интересовало.

Потом пришли другие дни. Умытые росами тихие рассветы, медноликое солнце над степью. Партизанский отряд взрывал мосты на дорогах, железнодорожные пути, рвал телефонную и телеграфную связь. И повсюду Евгения была с отрядом. И начальник отряда, Иван Сокол, не то в шутку, не то вкладывая правду в эти слова, повторял:

— Если доктор с нами, нам везет.

...И вот уже два дня, как партизан нет. Стонут во сне раненые. Жалобно воет стоголосый ветер в лесу. Стрельчатый огонек каганца кладет странные тени на стены землянки. Минуты проходят в ожидании. Наступает на лес, на землянку темная осенняя ночь.

Евгения сидит, наклонясь над столом. Автомат лежит на столе, по правую руку от нее. Ночью, когда сон непобедимыми обручами стискивает тело, возвращаются партизаны. Евгения распознает в напряженной тишине привычный звон оружия и знакомые голоса. Стряхнув с себя усталость и сон, она выбегает из землянки. Начальник партизанского отряда Сокол стоит, прислонившись к дереву. Он ласково улыбается Евгении, тихо говорит:

— Задержались малость. Чуть в засаду не попали. Сжимают немцы вокруг нас кольцо...

Партизаны неторопливо расходились по землянкам. Под деревом остались только Сокол и Евгения.

— Какие новости?

Надежда звенела в ее голосе.

— Новости? Новостей много, — отозвался Сокол. — Новостей много, Евгения Кирилловна. Почитать немецкие листовки — выходит нам конец... Такое пишут... Которые сердцем некрепкие, слабодушные, могут поверить...

Он тяжело вздохнул и повернул голову, точно прислушивался. Евгения застыла на месте. Куталась в кожушок; неприятная дрожь пронизывала все тело. Стал накрапывать дождь. Темная завеса ночи лежала над лесом, как вечность.

— Боюсь, — продолжал Сокол, — придется нам на новое место перебираться. Людей у нас прибавляется, оружие надо добывать, территорию расширять, а тут, похоже, мы уже им примелькались, все на глазах... Да ничего, доктор, не грусти. Идем в штаб, радио послушаем да...

Сокол не договорил, легонько тронул Евгению за локоть, и они пошли.

В землянке Сокола былолюдно. Возле радиоаппарата сидел проворный Митрохин; в шутку Сокол называл его «наш бортрадист». Партизаны ужинали. На столе стояли раскрытые коробки консервов. Когда вошли Сокол и Евгения, люди за столом подвинулись и дали им место.

— Садитесь ужинать, — пригласил усатый Клименко, бывший колхозный счетовод, любимец отряда, всегда готовый шуткой развеселить товарищей.

— Ужин у нас трофейный. Даже выпивка есть, — подмигнул Клименко, пряча усмешку под усами.

Он достал из кармана бутылку. Одним движением выбил пробку и поставил бутылку на стол. Сокол задумчиво жевал хлеб. Разлитое Клименко вино выпили. Евгения положила кусок рыбы на хлеб, но есть не стала.

Сокол искоса поглядел на нее. Подумал: волнуется, чутье ей что-то подсказывает. Может, ее не посылать? Может, кого другого? Трудно будет ей. Но кого послать? После приказа немецкого командования мужчина не проберется. Он знал — Евгения не откажется. Она давно просила у него дать ей какое-нибудь ответствен-

ное поручение. Чудачка! Разве то, что она делала, было мало ответственным? Придется все же послать ее.

Клименко заметил:

— Э, доктор, ты что же ничего не ешь? Это не годится. Ты у нас должна быть здоровенькая. И невеселая чего-то... Вот на рыбки, покушай.

Он заботливо подвинул Евгении коробку консервов и налил в стакан немного вина.

— И вылей, сердце мое, не тужи. Будет еще на нашей улице праздник. Сына приголубишь тогда и мужа расцелуешь.

Евгения горько улыбнулась. В отряде все почти знали ее семью, и сердечные слова Клименко в эту минуту особенно приятно прозвучали для нее.

— Слушайте, слушайте! — крикнул вдруг Митрохин, поднимая над головой руку. — Тихо!

Сразу немая тишина воцарилась в землянке. Партизаны застыли на скамьях. Сокол поднялся и на цыпочках подошел к радиоаппарату. Митрохин хотел встать и дать ему место. Сокол отрицательно мотнул головой и застыл, прижавшись плечом к стене.

Далекий, слабый голос проник в землянку, и люди замерли, затаив дыхание, воспринимая его всем существом, всем сердцем, и, незаметно для себя, всем телом потянулись на этот голос, глядя на черный небольшой репродуктор.

Сокол закрыл глаза. Сердце отчаянно билось в груди. Он молча, одним усилием воли приказывал себе: спокойней, не торопись, сохраняй спокойствие.

Евгения наклонилась вперед, провела языком по засохшим губам. Далекий голос, усиливаясь, проговорил:

— Внимание, слушайте, говорит Москва. Слушайте, говорит Москва.

Соколу, Евгении, Клименко, всем партизанам показалось в этот миг: низкий потолок землянки поднялся, надвое распалась темная завеса ночи, и яркий солнечный свет вознес свой парус. И, зажмурившись, увидела Евгения Высокос широкую площадь, ровные зубчатые стены Кремля, строгий гранит мавзолея, шеренги елок в почетном карауле.

А голос в репродукторе крепнул. И сердце Евгении сжималось от радостной боли. Мигающие огоньки светилен, казалось, потрескивали веселее. Теплые улыб-

ки появлялись на губах, сжатых горем. В запавших глазах зажигались искры.

Сокол ровно дышал, не подымая век, и жадно ловил каждое слово, чувствовал, как сердце его наполняется уверенностью и силой.

Говорила Москва. Ровным, спокойным голосом говорила столица, обращаясь к своим детям. Вся родина говорила голосом Москвы. И Сокол, и Евгения, и все партизаны почувствовали, что этот голос, это слово Москвы наполняет их еще большей решимостью, придает им еще больше силы и веры.

Митрохин торопливо записывал в тетрадь слова диктора, стараясь не пропустить хоть одно из них.

В эту ночь партизаны услышали о начале великой битвы за Москву. В эту ночь ко всем их заботам судьба прибавила наибольшую: что будет с Москвой? Отстоят ли Москву?

И в эту ночь Евгения неожиданно для себя услышала радостную, светлую весть, и крупные слезы выступили у нее на глазах, и она не скрывала этих слез. И каждый понимал их. После сводки Информбюро голос диктораши объявил, что на заводе, где директором товарищ Высокос, сошли с конвейера первые пушки.

Евгении пожимали руки. Ее поздравляли.

— Вот видишь, — громче всех говорил Клименко, — молодец у тебя муж. Скоро и про сына услышишь. Героем будет, вот тебе крест! — убежденно говорил Клименко и крестился. — Услышишь, Евгения Кирилловна, увидишь его...

И в эту осеннюю ночь Сокол, когда разошлись по своим землянкам партизаны, усадил Евгению напротив себя за стол и сказал, что надо взять из местечка Гусаровки шрифты для печати. Пора издавать небольшую газету. Пора уже свое правдивое слово сказать населению, а то уж слишком нахально врут немцы. Только кого послать за шрифтом?

— Я много думал над этим, — сказал Сокол, погасив только что закуренную самокрутку, и заглянул в глаза Евгении. — Долго думал. Мужчину пошлешь — сразу заметно. У них теперь все мужики на учете. Дело ясное — задержат...

— Я пойду, — перебила его Евгения. — Я пойду

и принесу, — сказала она снова после минутной паузы, словно речь шла о чем-то обычном.

— Ты подумай, — осторожно сказал Сокол, — хорошо подумай, Евгения Кирилловна. Это не обычная прогулка. И ты у нас не обычный боец. Я за тебя перед всем отрядом головой отвечаю. Ты — врач. Я тебе не приказываю. Я советуюсь... — Сокол заметно волновался, снова взял самокрутку, зажег спичку, но так и не прикурил. Спичка погасла.

Евгения пожала плечами. Она сама удивлялась: «Почему я так спокойна? Ведь, правда, это очень опасное задание».

— Я тебе откровенно скажу: ты идешь в самое логово зверя, прямо в пасть ему. Но ты понимаешь — нам без листовок невозможно. Ты радио слыхала? А нынче днем я прочитал в их листовке, что они захватили Ленинград и Москва видна в бинокль. Я спрятал листовку. Никому не показал. Ты не думай, что я сомневаюсь насчет верности своих бойцов. Но могут найтись слаботушные. Вот, читай!

Он вынул из кармана тщательно сложенный листок зеленой бумаги и развернул перед Евгенией.

— Читай.

Евгения прочитала и возвратила.

— Меня сегодня в плавнях дед Оверко, рыбак, спросил: «Что ж это, сынку, такое деется? Немец толкует, будто Ленинград взял, Москву вот-вот возьмет. Я, — говорит Оверко, — веры не даю. Но где ж та сила наша девалась?»

Сокол замолчал. Потом тихо добавил:

— Невеселый был дед Оверко... Людям, Евгения Кирилловна, надо свое слово сказать.

— Слушай, Сокол, ты не сомневайся, — твердо сказала Евгения. — Я хорошо обдумала. Я пойду. И я вернусь. Я принесу шрифты. Раненые наши выздоравливают, без врача несколько дней пробудут. А ты мне верь — все будет хорошо.

Сокол молчал. Пожевывал самокрутку. Смотрел на Евгению пристально, пытливо. А она сидела перед ним спокойная, сама удивляясь этому внезапному спокойствию. И, точно обо всем уже было договорено, тихо спросила:

— Когда?

— Утром, — ответил Сокол, не переспрашивая, по-
няв, что Евгения решила окончательно. И он благодарно
пожал ей руку.

...Местечко Гусаровка походило на кладбище. Торча-
ли посреди пожарищ обгорелые трубы. От большой
площади с сожженной церковью разбегались улицы.
Рыжий немец в лихо сдвинутой набекрень зеленой пи-
лотке, с автоматом на изготовку ходил вдоль улицы.
Он внимательно посмотрел на крестьянку в убогой
одежде, в стоптанных башмаках, подвязанных веревка-
ми, сплюнул сквозь зубы, выразив этим свое полное
презрение к ней, и пошел дальше.

А сердце в груди Евгении билось трепетно, тревож-
но, и в горле сразу пересохло. Она шла медленно. В са-
мой походке ее было то спокойствие, которое сразу
должно было рассеять все подозрения. Она смотрела
только прямо перед собой, но зорко подмечала сгорев-
шие дома за поваленными плетнями, длинную цепь
автомашин возле одинокого, уцелевшего среди пожарищ
белого дома.

Опускались на землю вечерние сумерки. Дождь тя-
желыми серыми канатами хлестал размокшую землю.
Уже позади осталась длинная, запутанная дорога.
Перед Евгенией был нужный переулочек, и в нем тот
небольшой домик...

На пороге ее остановил солдат.

— Хальт! — крикнул он.

На его голос выскочила в сени пожилая женщина
в черном платке. Взгляды Евгении и женщины скре-
стились.

— Не ждала меня, кума Христя? — сказала Евге-
ния улыбаясь.

Брови у женщины разошлись. Она поняла.

— Серденько, милая, заходи же, — скороговоркой
заговорила она и, размахивая руками, стала объяснять
немцу:

— Родичка... Понимаешь?.. Кума...

Но немец стоял, как каменный, на пороге и продол-
жал грозно смотреть на оборванную крестьянку. Генрих
Штрум был верный своему фюреру солдат, и он не мог
отступить перед законом. Эта нищенка, возникшая перед
ним, как привидение, должна иметь пропуск, иначе он
ее расстреляет на месте.

Евгения спокойно развязала платок и протянула солдату желтую бумажку с печатью. Паучий крест в синем ободке посреди бумажки успокоил немца. Он дал дорогу Евгении.

В полутемной кладовке, за кухней, сидела Евгения на топчане рядом с Христей.

— Офицера нет... где-нибудь в комендатуре, — шептала Христя. — А ты не дрожи, не бойся...

— Я ничего... сама понимаешь...

— Знаю. Я тоже сначала все думала, а что как дознаются? И не заметила, как привыкла. Они уж какие осторожные, а всё дурные... верят. Борщ варю ему, так и чешется рука подсыпать какого-нибудь яду, палачу проклятому, да держусь... Что говорить... — Христя махнула рукой.

— Нынче переночуешь. Завтра пойдешь. Все приготовлено. На речку, огородами, провожу тебя, а там через плавни и доберешься. Ну, ложись, почивай, а я пойду постерегу...

Христя исчезла. Евгения вытянулась на топчане. Думала об этой женщине, увиденной впервые в жизни. Вспомнила, как Сокол рассказывал про нее. Было на душе у Евгении печально и горько. Острое ощущение опасности не отступало от сердца. Пока сидела рядом Христя, было легче, а теперь Евгении рисовались такие страхи, что все тело тряслось.

Она лежит на топчане, прислушиваясь к каждому шороху за дверью. Вот звенят шпоры. Это, должно быть, офицер. Хриплый голос нарушает тишину. Он что-то гудит, а ему в ответ доносятся ласковые слова Христи.

Лейтенант Франц Штильганс, комендант Гусаровки, садится за стол. Перед ним на белой скатерти, как в сказке, появляются тарелки с кушаньями, весело ворчит на сковородке сало, точно приглашает господина лейтенанта: «Попробуй меня!» И лейтенант, опрокинув в глотку полстакана коньяку, нагибается над сковородкой.

Христя безмолвно меняет тарелки. Снует от порога к столу мелкими, спокойными шагами. Лейтенант Штильганс глотает поджаренное сало и думает: «Эту женщину следовало бы повесить. Что-то она мне не нравится. Но служит она исправно и честно. Однако надо присматривать за ней. Недаром этот пес Лихтаук

наговаривает. Видно, что-то знает, а сказать всю правду — партизан боится».

Франц Штильганс методично пережевывает поджаренную свинину, запивая мелкими глотками вина. От вина и вкусной еды он добреет. Христя приносит кофе. Сейчас он все проверит. Кто это там у нее в кладовке? — спрашивает он у Христи и пристально следит за руками, которые держат на блюдечке большую чашку с дымящимся кофе. Руки Христи спокойно ставят чашку перед офицером. Она своим тихим, как всегда, ласковым голосом поясняет пану коменданту, кто там, в кладовке. Кума с Киевщины, из села Барановки. Мужа ее большевики в Сибирь сослали, а она к матери своей, под самую Винницу идет, вот по дороге и завернула. Пешком все, сердечная... все пешком... А ведь какая хозяйка была когда-то! Эх, когда-то...

Франц Штильганс жадно пьет кофе и не сводит глаз с Христи.

— Гут! Хорошо. Христя может идти. Если надо будет, он позовет. Пускай спит та, в кладовке. Он, Франц Штильганс, человек с сердцем. Он строгий и требовательный, как полагается по закону, но Христя ему хорошо служит и он не станет допытываться про ее куму.

Христя, закрывая за собой дверь, ощущает предательскую, неприятную дрожь в ногах. Она хорошо знает повадку коменданта. Теперь он не отвяжется. Надо быть осторожнее. Она долго возится на кухне. Прислушивается к каждому шороху в комнате.

Дождь к ночи усиливается. Однозвучно вызванивает свою бесконечную песню на стеклах. Тоскливо завывает в трубе ветер. Не спит в кладовке Евгения. Лежит, широко раскрыв глаза. Слушает, как злобно и безнадежно воеет ветер, как неугомонно шумит дождь.

Франц Штильганс просыпается и вскакивает с постели. От злого завывания ветра за окном ему становится страшно. Одеревяненными пальцами нащупывает под подушкой револьвер и садится на постель. Он смотрит в окно, за ним шумит дождь и неистовствует ветер. В мыслях его — далекий город в Баварии, ровные, как солдатская шеренга, улицы, маленький двухэтажный дом. В эту минуту, наверно, спокойно спят отец и мать — почтенные Штильгансы. Спит спокойно его возлюбленная Берта. И только он, Франц, по воле

фюрера, должен переживать острое беспокойство и жуткое одиночество в этой дикой и нелепой стране. И кто знает, что ждет его завтра? Кто знает, что с ним будет через час?

— Майн готт! — шепчет он пересохшими от страха губами. — Майн готт, что это будет?..

Он встает с постели, и Христя за стеной тоже поднимается на лежанке. Сердце замирает в ожидании неизвестного; Христя горячей ладонью сдерживает сердце, бьющееся, как бешеное.

«Душегубы, — думает Христя, — звери... И когда на вас погибель придет!»

И слезы бегут по щекам. И нет сил сдержать их. Христя знает — немцы не трогают ее до времени. Нет у них на то никаких оснований. Мужа своего давно похоронила. Детей нет. А кому нужна она, старая, пятидесятилетняя учительница? Так думают немцы. Но не так думает о ней Иван Сокол.

На крыльце, кутаясь в плащ, выглядывая из-под капюшона, переступает с ноги на ногу часовая. Ему тоже страшно от шума дождя, от ветра, от ожидания чего-то неумолимого, что может неожиданно принести ночь...

Комендант Штильганс, соскочив с постели и сунув ноги в теплые меховые туфли, знает, что делать. Он доволен собой. Даже среди ночи комендант остается верен своей теории внезапности. Внезапность — это принцип его жизни. Недаром сам фюрер добился внезапностью таких побед. И Франц Штильганс, лейтенант особых карательных отрядов «СС», хорошо запомнил слова майора Вудзена: «Не смелость берет города, а внезапность». Вот сейчас комендант все проверит, сейчас он убедится.

Накинув на плечи френч и сжимая в руке револьвер, он выходит в кухню. Задержавшись на миг у порога, он решает: если хозяйка не подыметя, если та в кладовке спит, все в порядке, никаких подозрений. Комендант действует безошибочно. Он возвращается в комнату.

Христя опускается на подушку. Ей кажется — сердце выскочит сейчас из груди. Она смыкает веки и старается дышать ровно, спокойно. В соседней комнате звенят стаканы. Христя догадывается: немец пьет вино.

На цыпочках проходит немец через кухню. Он тихо

толкает дверь кладовой. Настороженно ловит ровное дыхание Христи. Нажав кнопку фонарика, подымает его левой рукой, стискивая в правой револьвер. Франц Штильганс видит на топчане женщину, закутанную в лохмотья. Она крепко, спокойно спит, подмостив под щеку сжатую в кулак руку. Женщина дышит свободно и спокойно. Дуло револьвера лейтенанта Штильганса нависает над ее головой...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Встреча желательная, но непредвиденная

Они бегут над междуречьем, над улицами северного города Н., хмурые осенние дни. Высокос чувствует, каким особенно напряженным стал темп стройки за последние дни. Не слышно на строительной площадке бестолкового, разноглагольного гомона, шуток, песен. Люди работают молча, не переговариваясь: лишнее слово отнимает дорогую минуту. Широкая фигура Сулака мелькает в цехах, среди серых корпусов.

Седой Шульга стоит перед своим станком, покачиваясь в такт вздрагивающему штампу автомата. Знают все, знает Высокос, Сулак, инженер Стецюк, знает Шульга, помнит об этом Митрофан Игнатьевич Мякишев: немного, еще три-четыре дня напряженной работы, и будет пущен гигант — сборочный цех. Раздается скрежет подъемных кранов, сотни пушек, одна за другой, неторопливо, торжественно поплывут, покачиваясь в чугунных зубах, сквозь массивные железные ворота на полигоны.

Бегут осенние дни, наполненные заботами, радостями, волнениями и тревогами. Шумят в степи, за междуречьем дожди. Стонут ветры. Двигутся свинцовой завесой стаи туч. Встают над степью рассветы, окрапленные робкими вспышками солнечных лучей. Низко над толевыми крышами новостроек рабочего поселка ползет утренний серый туман, и в стеклах все плачет и плачет тоскливая холодная осень 1941 года.

Днем и ночью — сутки напролет — в корпусах завода ритмичный гул, мощное движение машин. В определенные часы — пронзительный крик сирен, и целый

день — шипение паровозов на подъездных путях, однозвучный перестук колес железнодорожных вагонов. И целый день по размокшей земле, ускользающей из-под ног, по узким, усыпанным колким щебнем дорожкам идут и идут люди — на смену, со смены, — один путь.

Высокос в резиновых сапогах выше колен месит дорожки между цехами, вытирает комком мокрого платка затылок под стоящим торчком воротом плаща.

В пролетах цехов, у станков, над конвейерами по нескольку раз в день возникает его чуть сутулая, широкая фигура в неизменном синем плаще, в намокшей кепке, надвинутой низко на лоб. Еще несколько дней, и осуществится его мечта — сборочный цех.

Сегодня с утра он прямо из цеха направляется к реке Черной. В нескольких сотнях шагов отсюда открывается пологий берег. Серые массивные колонны быков встали поперек реки. Перемычка, возведенная в каких-нибудь три десятка дней, повернула бурное течение реки к югу и освободила обширную площадь для сборочного цеха. Земля, еще недавно бывшая дном реки, теперь уже замощена камнем, бетоном, цементом. Над перемышкой суетятся люди. Идут последние работы по креплению шлюзов.

Высокос стоит на берегу, окруженный прорабами и инженерами.

Вдоль перемышки с винтовкой через плечо неторопливо похаживает часовой. Взятые в клещи железобетона, сердито и недовольно плещутся воды Черной.

«И вот еще три-четыре дня...» с удовлетворением думает Высокос, возвращаясь в управление завода. Еще три-четыре дня, и он сможет, не скрывая радости, сказать: «Мы выполнили слово, данное Председателю Государственного Комитета Оборона». Еще три-четыре дня, и потекут из всех корпусов завода в один огромный сборочный цех тысячи деталей, чтобы там в четком, размеренном, конвейерном беге превратиться в бесконечный поток пушек.

Главный инженер Сулак, посасывая обгрызанную трубку, наклонился над столом, заваленным чертежами. Спокойно передвигаются сжатые пальцами ножки циркуля. Под потолок плывет волной синий табачный дым.

Секретарша Вера Ивановна докладывает Высокому: инвалид Отечественной войны просит принять его.

Спустя минуту в кабинет входит невысокого роста молодой человек в красноармейской шинели. Припадая на левую ногу, он подходит к столу и протягивает Высокому бумажку. Красноармеец сидит в кресле перед Высоким, внимательно осматриваясь вокруг. Когда Высокий прочитывает бумажку, красноармеец считает нужным пояснить: узнав в горсовете, что тут его земляки, украинцы, он попросил послать его на завод. И вот теперь он лично просит товарища директора помочь ему устроиться на заводе. Конечно, ему больше по душе воевать, но что поделаешь — не посчастливилось, не хотят оставлять в армии.

— Хорошо, товарищ Дудко, — утвердительно кивает головой Высокий.

Он вызывает секретаршу и приказывает связать красноармейца с отделом кадров. И еще особо дает ему в руки записку к начальнику отдела.

...И вот после долгих скитаний стоит Семен Дудко на широкой площади перед заводоуправлением, опираясь на палочку. Все улажено. Завтра он станет на работу. А сейчас, озираясь по сторонам, он осматривает знакомые новые здания, далекую волнистую линию гор и сосредоточенные лица людей, проходящих мимо. Позднее, в общежитии, он сидит на койке и прислушивается к разговорам пока еще мало знакомых ему людей.

Ночью он долго не засыпает, точно боится проспать утреннюю смену. На самом деле не это беспокоит его. Он хорошо знает, что не проспит смену. Мысли его снова и снова возвращаются к тому погожему дню, когда он упал в пахучую лесную траву, сраженный пулями предателя... Долго лежал он без сознания, раскинув руки в траве, а когда сознание вернулось к нему, он плакал от боли, от ненависти к мерзавцу, который так подло обманул его. И в те минуты, и гораздо позднее, когда несли его крестыне, случайно нашедшие его в лесу, и в госпитале он неизменно видел перед собой плоское неприятное лицо с жесткими, спрятанными глубоко под надбровьем глазами.

Он запомнил навсегда узкий разрез глаз, их неопре-

деленный цвет, нос с горбинкой, и реденькие усы, и беспокойные руки...

Пули, которыми стрелял в него враг, были отравлены. Врачи вели долгую и упорную борьбу со смертью, и враги победили. Семена Дудко послали долечиваться в тыловой госпиталь, в далекий степной город.

Он жил тем днем, когда сможет выйти за дверь госпиталя и пойти в военкомат. Он знал, что его единственный путь туда, к городам и селам, к ломаной линии окопов, где гремят неслыханной силы залпы орудий и пулеметов. Но надежды Дудко не оправдались. Медицинская комиссия не приняла во внимание его личных желаний. С документом в руках, в котором говорилось, что по состоянию здоровья Семен Дудко снят с военного учета, он вышел из помещения комиссии. Он мог еще несколько недель отдыхать. Сперва он даже попробовал это сделать. Опираясь на палочку, он ходил по людным улицам города. Ему вежливо давали дорогу женщины и мужчины. Дети с нескрываемым восхищением смотрели на него. Всюду его встречали забота и уважение. И это еще сильнее понуждало скорее найти работу, взяться за настоящее, нужное дело.

Но и в эти дни не забывал он хищное, чужое лицо врага. И холодные, жесткие, бесцветные глаза стояли перед ним, как злое видение.

...Длинна ночь перед началом первого дня работы на заводе. Не спится в эту ночь Семену Дудко. Далекий край видит он. В эту пору задумчив осенний лес: он встречает осень и, умиловывая ее, стелет ей дорогу ярко-желтой и багряной листвой дубов и кленов. Идет осень степными шляхами Украины, идет по городам и селам. Знает ее обычаи, ее причуды Семен Дудко. Видится ему родное село, белая хата, садик, за которым колышутся синие воды озера, а дальше, за озером, желтые песчаные холмы тянутся до самого края неба. Томится от боли и тоски сердце Дудко.

— Погоди, — шепчет ему Дудко. — Не тоскуй. Потерпи. Немецкий сапог не долго будет топтать мои нивы. Дай время. Дай срок...

И, закрыв глаза, он снова видит знакомый шлях, родные села, прозрачную синь озерных вод и отраженное в ней высокое лазурное небо.

В ночь перед первым боем он так же лежал лицом

к небу, но не на койке, а в степи, под прикрытием окопов, и над ним синело небо. Звезды, мерцая, переговаривались с ним. Теплый ветерок шевелил волосы. Где-то близко, во ржи, свистел суслик. А он лежал и думал, что на рассвете пойдет в бой и, может быть, упадет на землю, пронизанный пулей, и больше не поднимется...

Близость смерти сжимала сердце острой болью, но одно, что хотел знать он и во что верил, это—что спустя какое-то время, когда бой утихнет, когда, быть может, его не будет в живых и отец с матерью оплачат потерю сына, все же немцу не ходить по его земле, не быть хозяином на ней. И ради этого он готов был умереть...

...До утра не спит Семен Дудко. С первым зовом сирены он легко поднимается с постели и, умывшись, расспрашивает соседей, как пройти в цех № 2 к мастеру Шульге.

— Нам по дороге, идем, покажу, — отвечает сосед. — Вы, видать, новый, с фронта. Давайте познакомимся. Меня зовут Денис Семений. Я из Киева. А вы тоже земляк, мабуть? Эге!..

Денис Семений сразу же после этого как бы берет шефство над Семеном Дудко. Он ведет его в столовую, усаживает рядом за стол. Заспанной официантке говорит:

— Люба, ты добрую тарелку каши дай нашему новому товарищу.

Семен смущенно отмахивается.

— Ничего, поправляйся, товарищ. Работы у нас по горло. Надо силы набираться, — отзывается из угла пожилой рабочий.

Приятное тепло дружеского сочувствия охватывает Семена Дудко.

Позавтракав, они торопливо выходят из столовой и направляются в цех. Он высится за жилыми домами, освещенный фонарями в рассветном тумане.

Семен вынул коробку папирос. Спичек нет ни у него, ни у Дениса.

— Эх, досада! — жалуется Семений. — Товарищ, — обращается он к человеку, который ведет за уздечку коня, везущего бочку с водой, — дай прикурить.

Водовоз, затаившись, подносит зажженную самокрутку Денису. Семен Дудко вдруг чувствует, как наливаются свинцом его ноги, а сердце, замирая, словно перестает биться.

«Боже мой! Что это со мной? — думает он. — Но сомнений быть не может. Вот они, жесткие глаза, плоское лицо. Это он, он!» сверлит мозг Семена лихорадочная мысль.

Вот он встречается глазами с его взглядом. Самокрутка выпадает из рук. Семен удивленно смотрит на Дудко. Отчего он так побледнел? Видно, не совсем поправился.

А водовоз вскакивает на сиденье и хлещет лошадь горячим ударом кнута. Лошадь срывается с места, как бешеная. Брызги грязи летят из-под колес.

— Чтоб ты сказился! — с сердцем кричит вдогонку водовозу Семен. — Да что с тобой, товарищ Дудко? Может, нездоров? Так лучше вернись.

— Ничего, ничего... Это так, пройдет, — успокаивает Дудко Семен. — Идем скорей, а то опоздаем. Идем...

«Он, он, — мысленно повторяет Семен. — Это он. Но как он очутился тут? Нет, это невозможно. Это какое-то наваждение. Не в цех сейчас надо, — думает Дудко, — пойти, разыскать этого водовоза, расспросить».

— Слушай, ты не знаешь, кто этот человек, у которого прикуривал? — спрашивает Дудко Семена.

— Как зовут, не знаю, а встречаю по дороге часто. Кажись, в детском интернате сторожем работает. А что? — спросил настороженно Семен.

— Похоже, знакомый, — отозвался Дудко.

Больше он ничего не сказал Семену. А мысль жалила в самое сердце: «Неужели это он? Неужели?..»

Навстречу из цеха длинной цепью тянулись смеявшиеся рабочие.

Петр Иванченко изо всех сил гнал лошадь. Сам не замечая того, он давно уже миновал ворота интерната и выехал далеко за поселок в степь. Только когда его обогнал грузовик и затормозил перед ним, а шофер злобно выругал его и погрозил кулаком за то, что едет он по недозволенной стороне, Петр Иванченко опомнился. Он остановил лошадь и соскочил с сиденья, тяжело переводя дыхание, озираясь, как загнанный зверь. Вытер

ладонью потный лоб. Стоял посреди дороги, растерянно искал глазами спасения в голой, безлюдной степи. Было одно желание: свернуть с дороги в степь и затеряться в ее бесконечных просторах. У него не было никаких сомнений: только что перед ним стоял сын Дудко, в которого он разрядил револьвер в Броварском лесу.

Иванченко чувствовал, как сползает с него, точно гнилая кора, чужое имя, и он превращается в Максима Стецюка.

Максим Стецюк понял — бегство не спасет его. Надо кончать начатое, а потом можно исчезнуть.

Он повернул лошадь к поселку и два раза ударил ее кнутом. Лошадь неторопливо затрусила по шоссе, а Максим Стецюк постоял еще несколько минут посреди дороги и, озираясь, точно проверяя, не следит ли кто за ним, свернул на боковую тропинку, сбегавшую вниз, в глубокий овраг. Он поднял одеревяневший от дождя капюшон брезентового плаща. Шагал торопливо, осматривался по сторонам, удаляясь от шоссе.

Лошадь с бочкой, без хозяина, добежала до знакомых ворот. Долго стояла, пока не заметила ее в окне Шульжиха. Старуха подошла, открыла ворота. Удивленно покачала головой. Иванченко нигде не было.

В полдень в интернат пришел человек в красноармейской шинели. Спросил сторожа. Выслушал короткий рассказ Шульжихи и молча ушел. Шульжиха видела в окне: красноармеец шел по двору, опираясь на палку, припадая на левую ногу.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

«Любить її во время люте!..»

Ему хотелось пить. Адская жажда мучила его. Солнце стояло прямо над головой. Жгучее, жаркое солнце юга. Окоп, где он находился, был глубокий, но узкий. Ход сообщения соединял его с двумя соседними окопами.

Танковая атака захлебнулась, и Игорь Высокос мог немного отдохнуть. Бой перенесся вправо, за зеленые кряжистые горы. И равнина, расстилавшаяся перед ним, поражала своей пустынностью. Нестройно стрекотали

автоматы, где-то совсем близко. И раз за разом оглушительно били тяжелые орудия.

Игорь Высокос скинул бушлат и остался в полосатой тельняшке. Он знал: этот отдых не надолго. Дрожаящими от возбуждения пальцами погладил горячее дуло противотанкового ружья. Его второй номер, смуглый Лейзер Шапиро, опершись спиной о пересохшую стенку окопа, раскрыв рот, тяжело дышал.

Они не разговаривали. Каждый наслаждался минутным отдыхом, чутко вслушиваясь в напряженную зловещую тишину, стоящую на равнине. Игорь Высокос вытер ладонью потный лоб и вынул из кармана блокнот. Аккуратно вырвал чистый лист и начал писать.

— Высокос, сержант Высокос! — донесся голос из хода сообщения. На миг в узкой щели появилась зеленая каска и под ней разгоряченный взгляд матроса-связиста.

— Смотри, скоро фрицы снова пойдут в атаку. Приказ командира — стоять насмерть.

Каска исчезла в щели хода сообщения. Лейзер Шапиро с усилием, казалось, оторвался от стенки окопа. Игорь продолжал торопливо писать что-то, только кинул через плечо Лейзеру:

— Приготовь патроны... гранаты... бутылки...

Отодвинув маскирующий настил валежника, Игорь выглянул из окопа. Широкая равнина как бы втекала в узкую горловину горного перевала. Три противотанковых ружья преграждали проход. Равнина была пустынная. Только у взгорья дымился подбитый вражеский танк. Игорь снова наклонился над блокнотом, прислушиваясь к неясному бормотанию своего товарища.

Кажется, тот пел. Что это с ним? Но это только показалось в первую минуту. Вскоре Игорь разобрал: Лейзер считал патроны и гранаты.

Вторые сутки стоит Игорь в одном окопе с Лейзером. Еще позавчера немцы прорвали первую линию обороны и перевалили в долину с фланга. Лейтенант вызвал Игоря.

— Товарищ Высокос, вместе с этим товарищем, — он указал на смуглого парня в зеленой гимнастерке, который, вытянувшись, стоял рядом, — вы займете оборону на третьем секторе. Вас там будет шестеро, — тихо, но четко выговаривая каждое слово, добавил лей-

тенант. — Шестеро против нескольких десятков танков. Но надо выдержать. До подхода подкрепления. Ясно?

— Есть, товарищ лейтенант.

Из палатки лейтенанта Игорь вышел вместе с новым товарищем. Они получили противотанковое ружье, боеприпасы и, присоединившись к первым четырем, молча зашагали на место, где должны были занять оборону. Всю ночь, коротко переговариваясь, рыли они окопы и ходы сообщения между ними. Окоп Игоря и Лейзера был посредине. За ночь они успели узнать друг о друге ровно столько, сколько нужно боевым друзьям, чтобы почувствовать взаимное уважение. Однако незаметно для себя каждый присматривался к другому, как бы проверяя. Но лучшей проверкой была первая атака немцев.

Игорь спокойно подпустил на двести метров головной танк и попал прямо в мотор.

Лейзер автоматной очередью пришел к земле экипаж танка.

— Это им за Киев, — сказал он.

— Ты из Киева? — спросил Игорь.

— Да. Жил на Красноармейской, в шестнадцатом номере.

— А я на Печерске.

— Сейчас мы им дадим за Печерск.

— Вот хорошо, что мы киевляне.

Танки перегруппировались и снова двинулись.

— Давай, давай! — горячо шептал Игорь.

Отлушительный скрежет полз по долине, приближаясь к окопу. Два выстрела с флангов. Два подбитых танка. Тогда танки остановились и попятились. Через несколько минут они исчезли за возвышенностью.

— У тебя кто в Киеве остался? — спросил Игорь.

— Родители.

— А мои — не знаю где, — грустно сказал Игорь. — Славно ты их из автомата угостил.

— Не хотел отстать от тебя, — отозвался Лейзер.

И снова они молчали. Ползли минуты. Порывистый ветер поднял над равниной пыльную поземку. Топорщилась на пригорке низкая желтая трава.

Танки не прошли. Вечером связист принес им термосы с кофе и консервы. Игорь и Лейзер поужинали. По-

ка они ели, связист рассказывал им последние новости. Между прочим, он сказал:

— Весь полк вас, ребята, хвалит. Говорят: вот молодцы комсомольцы — не пустили танки. А, наверно, страшновато? — спросил он вдруг, заглядывая в глаза Игорю. — Лезет на тебя железная громадина, а ты стой, и точка.

— Побудь с нами, — предложил Лейзер.

Связист помолчал, потом согласился:

— Что ж, могу!

— Не надо, — усмехнулся Игорь, — свое дело делай.

Всю ночь не утихала стрельба. И они не смыкали глаз. Перебрасываясь незначительными словами, подстерегали они кого-то, коварного и невидимого, который пытался подкрасться и нанести свой хищный удар. На какое-то мгновение Игорь перенесся мыслями в прошлое, и сердце болезненно сжалось. Ласковое лицо матери, ее ровный голос были рядом, как всегда по утрам в те мирные дни, еще до того, как пошел он в морскую школу.

— Как себя чувствуешь, сынок?

— Хорошо, мама, — прошептал он громко, забывшись.

— Ты что? — спросил тихо Лейзер.

Игорь не отзывался. Лейзер больше не спрашивал. Игорь вел безмолвный разговор с матерью. Он говорил ей:

— Вот видишь, мама, я воюю. Я подбил танк. И мне хорошо, мама. Я не боюсь. И мне не страшно. Я не отступлю, мама. Ты не бойся, не думай обо мне, не волнуйся. Не надо. А если меня не минует злая пуля, не горюй. Я умру честно. Я не забыл, мне отец рассказывал, как ему дед наш перед смертью на поле боя сказал: «Вперед, сынок, вперед». Это было тогда, в ту ночь, когда брали Перекоп... И вот, мама, я защищаю то, за что погиб наш дед. Правда, отец?

Игорь видел, как ласково и одобрительно улыбнулся отец. Отец тоже здесь, и это радует Игоря.

— Это хорошо, — услышал его голос Игорь, — хорошо, сынок. Стой насмерть. Умри, а врага не пусти.

Игорь видит: по щекам матери текут слезы. Они соленые, но откуда он знает это? Да нет, это не мать.

Это сам он заплакал. Но он не стыдится этих слез. Он смотрит влажным взглядом в глаза Лейзеру и, оправдываясь, говорит:

— Видишь, расстроился, вспомнил мать.

— Эх, Игорь, я понимаю тебя, — отвечает товарищ. — Я знаю, может, в конце концов они нас раздавят, но дорогой ценой. Правда?

— Правда, — отвечает Игорь.

И Лейзер Шапиро поверяет ему тихим шопотом короткую историю своей жизни. И рассказывает про белокурую девушку, по имени Галя, и про свою мечту строить дома, стать архитектором.

— Но все это после... после войны. Теперь одно — бить немцев.

...Неслышными шагами проходит ночь по вершинам Крымских гор, тысячами молчаливых ручьев стекает на плато побережья, светит мерцающим сиянием звезд и закрывает непроницаемой завесой черной осенней темноты суровую землю, напоенную кровью.

И вот теперь, через какой-нибудь час, снова на долину выползут танки. Игорь кончает писать. Протягивает исписанный лист Лейзеру, а сам впиается взглядом в долину, раскрывающуюся перед ним в маленьком отворе маскировочного нагромождения хвороста. Лейзер беззвучно шевелит губами. Он читает написанное и, взяв из рук Игоря карандаш, подписывает. Потом, наклонившись, выдалбливает лопаткой в стенке окопа углубление, кладет туда исписанный листок бумаги и прикалывает его к земле ножом.

В этот миг угрожающий скрежет тревожными волнами захлестывает равнину. И Лейзер и Игорь видят, как десятки танков выползают из-за возвышенности.

— Держись! — кричит Игорь.

— Есть! — слышит он рядом.

«Ну вот, началось самое страшное, — думает он. — Это, должно быть, их последняя попытка. А связист перedal — стоять насмерть...»

И уже Игорь старается ни о чем не думать, только смотреть вперед и посылать из своей винтовки смерть в самое сердце этих железных зверей. Истребить. Испепелить. И последнее, что он еще вспоминает, это голубая ширь Днепра, просторная и ровная, манящая даль за днепровскими кручами...

Танки, развертываясь полукругом, заполняют равнину железным потоком.

«Они, как видно, хотят испугать нас своим числом, — думает Игорь. — Не испугаете. Нет!» Прикусив губу, он ждет. Часто бьется сердце. Он чувствует, как по наморщенному лбу течет пот.

Вот еще несколько метров. Еще несколько секунд. Игорь нажимает гашетку. Черный танк, меченный крестами, пятится и окутывается синим дымом. В открытый люк выскакивают немцы. Очередь из Лейзера автомата опрокидывает их на землю. Второй танк наползает сбоку. Игорь нажимает гашетку. Танк, на ходу огрызнувшийся выстрелом из орудия, охватывает огонь. Два других отваливают в сторону.

Игорь замечает — на флангах тоже останавливаются подбитые товарищами танки. Сердце радостно бьется. Немцы отходят. Первый порыв сорван. Но Игорь знает: через минуту они попробуют снова. Он не отрывается от ружья.

— Воды, — просит он.

Не оглядываясь, жадно пьет воду из фляги, которую держит возле его рта Лейзер.

— Еще...

Лейзер подносит ему вторую флягу.

— Идут. Снова идут. Держись!

Лейзер кидает флягу на дно окопа и припадает к автомату.

— Сбоку заходят, смотри! — кричит он в ухо Игорю.

Игорь сразу понимает, в чем заключается маневр врага. Они хотят перервать ходы сообщения. Хитро задумали. Полосатый, размалеванный, как зебра, танк боком подползает к ходу сообщения. Игорь посылает ему навстречу пулю. Мимо.

— А, гадюка!

Он шлет вторую и за ней третью. Танк останавливается. Огонь вырывается из мотора, и страшный взрыв сотрясает воздух. Но в этот момент второй танк одной гусеницей вползает в ход сообщения.

Лейзер видит, как из люка выскакивает в ров немец с автоматом. Лейзер оборачивается лицом к ходу сообщения и, когда из-за угла высовывается немец, стреляет ему прямо в лицо. Быстро перебежав, он наклоняется

над убитым, подбирает его автомат и возвращается в окоп.

Игорь, раскрыв рот, жадно глотает горячий воздух. Вот справа замолкает противотанковое ружье. Тяжелый танк утюжит соседний окоп. Но в тот же миг танк взрывается и валится набок.

«Красиво умерли хлопцы», думает Игорь и смотрит краем глаза на своего товарища.

Тот показывает: еще пять патронов. А танки ползут и ползут...

Нестерпимо жжет солнце. Дым низко стелется по земле. Не дает дышать. Игорь посылает новую пулю и попадает в дуло орудия. Пушка замолкла. Но новые танки ползут на окоп.

Последний патрон... Последний патрон! Игорь отрывается от приклада. Он схватывает гранаты и, тряхнув головой, как бы бесповоротно решив что-то, засовывает их за пояс. Лейзер делает то же. Он понимает намерение Игоря. Запекшимися губами считает танки: «Восемь... десять... шестнадцать...»

Игорь протягивает ему руку, но Лейзер крепко обнимает его, и они целуются пересохшими губами.

Игорь выскакивает из окопа и какое-то мгновение лежит, распластаный на земле. Рядом с ним Лейзер. Игорь понимает — конец. Теперь все...

Игорь и Лейзер одновременно вскакивают на ноги. На пространстве равнины, озаренные ослепительным южным солнцем, они стоят — бессмертные, лишённые страха, точно переступив порог смерти. И кажется — полем боя владеют не десятки железных страшилищ, а эти два юноши. Это длится всего мгновение, а потом каждый, нагнув голову, устремив тело вперед, точно ныряя в бездонную пучину моря, кидается под танки, которые грозно и торопливо ползут на них.

И два танка подпрыгивают и замирают на месте. Пламя, вырываясь из щелей, лижет железо, и взрывы гремят, как последний салют бесстрашным бронейщиками...

На другое утро подошедшие подкрепления выбивают немцев из равнины. Бой переносится за горы. В стене окопа красноармеец находит листок из блокнота, присыпанный землей. Он передает его командуре. Бойцы окружают лейтенанта. Он читает громко:

«Родина наша, Украина наша, родной товарищ Сталин! Клянемся стоять насмерть, ни шагу не отступить. Не будут немцы владеть нашей землей! Товарищи бойцы, передайте родителям нашим, родным и знакомым, что мы стояли насмерть и перед врагом не дрогнули. И в последнюю минуту, перед наступающей атакой танков, мы пишем свой завет вам, товарищи: бейте оккупантов, уничтожайте их. Любите родину. И как сказал когда-то наш Тарас Шевченко:

Любїть її во время люте!..»

И тогда идущим в бой смерть не будет страшна.

Сержант-Гронебойщик Игорь Высокок
Автоматчик Лей-ер Шапиро.

Лейтенант снял пилотку. Сняли фуражки красноармейцы. Было тихо в степи — ни шороха.

Молчаливые и строгие стояли бойцы. В безоблачной синеве южного неба сверкало жгучее, медноликое солнце.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Ощущение победы

Митрофан Игнатьевич Мякишев все эти дни накануне события, к которому он готовился долгие годы, жил одной тревожной мыслью. Он знал (так, по крайней мере, хотелось ему верить), что над туманным горизонтом его судьбы засияет солнечный свет. Тогда Мякишев сможет расправить свои сутулые плечи, взглянуть взглядом победителя в ненавидистые ему глаза Высокоса, Сулака и прочих, перед кем он должен еще какое-то время вести сложную игру.

По ночам, лежа в постели, Мякишев читал газеты. Он по два, по три раза перечитывал официальные сводки о ходе войны, искал чего-то между строками телеграмм из-за границы. Он верил — час его торжества скоро настанет. В мыслях его, всегда отмеченных осторожностью, теперь уже не было места сомнениям. Нет, Митрофан Игнатьевич Мякишев в долгие темные ночи одиноких раздумий всходил на высокую гору, пренебрегая опасностью, веря в счастливую звезду своей жизни.

«Что ж, — рассуждал он, — немцы захватили большую территорию, еще несколько ударов — и настанет

развязка. Кто скажет тогда мне, Митрофану Мякушенко, что я ошибся в выборе своего места в жизни?» Он был теперь твердо уверен в своих действиях и поведении.

Иванченко наведывался редко. Вообще он соблюдал осторожность. Это нравилось Мякишеву. Дважды принесил он записки от неизвестного лица из города. Мякишев внимательно прочитывал их, а потом сжигал и даже пепел выбрасывал за окно, на ветер.

В комнатах инженера Мякишева все выглядело так, что должно было свидетельствовать о полном его увлечении работой и о его спартанских привычках в быту.

Сам парторг Остап Гарайчук не мог бы упрекнуть его, Мякишева, в каких-нибудь фактах, даже мелких и малозначительных, которые говорили бы отрицательно о его поведении в суровое военное время.

Но за всеми этими повседневными заботами, осторожными речами и обдуманными поступками жила одна мысль, нарастало одно стремление, которому, собственно говоря, и было подчинено все существование Мякишева в эти дни.

Во сне и наяву видел он чугунные сплетения перемячки, которая перегораживала могучее течение реки Черной, отводила ее из русла. В записках, которые приносил Иванченко, речь шла именно об этой перемячке. Невидимые для Мякишева, но достаточно хорошо ощущаемые им силы интересовались этой перемячкой. Они требовали, эти силы, почти невозможного от Мякишева. Они стояли за его спиной весь день, а ночью наклонялись над его постелью.

«Ты это сделаешь», твердили они. И Мякишев метался в кольце тревог и сомнений, не находя способа на практике осуществить эти требования.

Теперь, в эти дни, все приближалось к кульминационной точке. Еще два дня — и гигант-цех будет пущен.

Высокос, Гарайчук и Сулак не спали ночами. У инженеров Михайловского и Стецюка только и бывало в сутки передышки: завтрак — десять минут, обед — десять-пятнадцать минут.

Мякишев тоже с трепещущим сердцем подходил к кульминационной точке тревог и забот этих дней.

Часто, проходя междуручьем, он останавливался, оглядывал серые корпуса нового цеха и правее его — перемячку. Река спокойно и величаво катила свои чер-

ные воды на юг. На левом берегу краснел дом электростанции и контрольные башни перемычки. Ровное гудение турбин наполняло холодный осенний воздух. Мякишев спешил. Втянув голову в плечи, он бежал дальше, перебирая своими короткими ногами. Сердце его тревожно ныло. Ах, черт возьми! Никто больше его не понимал значения этой перемычки. Хитер этот Высокос! Убивал сразу двух зайцев: перегородив реку, освобождал обширную площадь для сборочного, конвейерного цеха, не отдавая его от основных производственных цехов, и создавал мощную электрическую станцию, ток которой оживлял завод. Хитер этот Высокос! Ох, как хитер! Но все же он не догадывается, какие мысли тревожат сейчас инженера Мякишева!

В директорском кабинете Мякишев, как всегда, спокоен и рассудителен. Он курит махорку, затягиваясь едким дымом. Серый денек тускло мерцает за широкими окнами.

Высокос стоит, наклонившись над планом. Синие листы кальки хрустят под его пальцами. Глаза у Высокоса глубоко провалились. Желтые пятна легли на щеки. Ворот зеленого френча туго стягивает шею, и от него на шее красная полоска.

Мякишев почему-то внимательно смотрит на эту полоску, и только на нее, точно ничто больше не в силах привлечь его внимание в кабинете директора.

Высокос стоит за столом после бессонной ночи, наполненный тем волнующим чувством, какое уже было знакомо ему в былые дни. Так было на Днепрогэсе в 1927 году, так было в Киеве в 1930 году.

Вспомнилось ему, как всего несколько месяцев назад станки и машины тряслись в пульманах по железнодорожным путям, а вот теперь, — он мельком глянул в окно, — перед глазами его раскрывается величественная панорама: длинные шеренги цехов, клубится дым над ними, стоголосый шум врывается сквозь стены кабинета. «А вот теперь, — думал Высокос радостно и взволнованно, — теперь завод живет и работает...» И, как бы в подтверждение этой радости, увидел в окне, что по железнодорожной ветке, проложенной за корпусами, промчался длинный поезд платформ, покрытых брезентом. Высокос посмотрел на своих соратников и товарищей, улыбнулся радостно:

— Итак, завтра, товарищи, включаем электрический ток. Да, товарищ Стецюк?

Инженер Стецюк поднялся. Он едва не пошатнулся. Третьи сутки без сна давали себя знать.

— Все готово, Марк Емельянович, — тихо ответил он.

Высокос теплым взглядом смерил фигуру Стецюка и, точно на смотре, обвел глазами инженеров. Он сам удивился, почему раньше не замечал усталости, которая лежала на знакомых лицах.

Мякишев потупил глаза. Дымил махоркой. Сердце билось короткими, неровными толчками. Высокос пытли-во глянул ему в глаза, скрытые стеклами очков. Так показалось Мякишеву. Он выпустил густой клуб дыма и спрятал за синим облачком недобрый блеск своих глаз.

Инженеры сидели полукругом за директорским столом, тихо переговариваясь. Они могли радоваться. То, чем жили они на протяжении нескольких десятков дней, напряженно отдавая весь порыв своей воли и всю силу свою, завершалось на несколько дней ранее намеченного срока. Они с восторгом глядели на Высокоса. В их мыслях он был сейчас не просто директор, не просто уполномоченный Государственного Комитета Обороны, — перед ними стоял командующий армией. Человек железной закалки, с ясной логикой действий, с большим опытом, талантливый стратег, изобретательный и строгий, требовательный и чуткий.

И он, Высокос, как бы понимая безмолвные мысли своих инженеров, сказал, обращаясь к Сулаку:

— Итак, начальник штаба, у нас все основания считать, что мы выиграли бой. Немцы понесли поражение.

Мякишев резким движением погасил самокрутку. Внимательно рассматривал желтую кожу пальцев.

Сулак потер широкой ладонью бритую голову. Он смеялся радостно, не скрывая удовлетворения.

— Хоть Гитлер и объявил наш завод уничтоженным, а мы существуем, — сказал Сулак. — Мерзавец Гитлер на своей шкуре еще убедится в нашем существовании! — ударил он кулаком по столу.

Лицо Сулака покраснело от гнева. Он сидел напротив Мякишева, и последнему показалось, что главный инженер как-то по-особенному посмотрел на него.

После заседания Мякишев вышел из директорского кабинета разбитый и обессиленный. Именно сегодня, как никогда еще, острое и неослабное чувство одиночества придавило его. Точно слепой, прошел он ровными, но неверными шагами через длинный коридор заводоуправления. На дворе остановился. Пропустив мимо себя Стецюка и Михайловского, — они, весело переговариваясь, сели в машину, — Мякишев долго стоял, тяжело переводя дыхание. В эту минуту он ощущал свое бессилие и полную отчужденность от людей, среди которых только что был. И это чувство поднимало в нем волну такой ненависти, что она одна, казалось, могла уничтожить и испепелить все, стоявшее у него на дороге. Неторопливо прошел Мякишев по деревянному тротуарчику в конструкторское бюро, выстраивая свои беспокойные мысли в одну шеренгу, чтобы легче было действовать.

А Высокос, Гарайчук и Сулак еще долго сидели втроем над бумагами, тихо переговариваясь, вспоминая прошлое, дни и ночи напряженного труда, заглядывая в будущее, предвидя возможные трудности.

И каждого из них радовала мысль: вот пройден какой-то тяжелый отрезок дороги, осуществились стремления, развертывает, точно мощная птица, свои крылья гигант-завод.

Гарайчук вспоминал июньское утро в поселке возле Поста-Вольинского, брата своего Никиту на больничной постели, настойчивый шопот его пересохших губ: «Отомсти, Остап, отомсти немцу!..»

Он обещал брату. И сдержал обещание, хотя и не на поле боя. Впрочем, разве это не поле боя? Гарайчук встал и подошел к окну. Не оглядываясь, он чувствовал, как по бокам его встали Высокос и Сулак. Они стояли у широкого окна, молча всматриваясь в сизую даль осеннего дня. Грузные, свинцовые тучи напоздали от горизонта. Поле зрения включало ровные, высокие, серые корпуса цехов, красную контрольную башню перемычки и длинные шеренги деревянных жилых домов. И они вспомнили, все трое одновременно, еще недавно голую степь, песчаные самумы, холодные ветры с далеких гор. И тяжелую тоску, невыносимую тоску по Украине, раздиравшую сердце нестерпимой болью.

И в эти минуты, стоя у окна, они летели мыслями на

Украину, в далекий и в то же время безгранично близкий край, в свой Киев. И они молчали, понимая, что слова будут излишни и не нужны.

Так они стояли долго: директор, парторг и главный инженер, точно командиры на командном пункте, на поле битвы; стояли твердо на земле, точно росли из нее, точно были продолжением ее бурной силы, ощущая радость первой победы, прозревая будущее.

Широкие просторы восточных степей раскрывались перед ними.

Гарайчук сразу после совещания у Высокоса пошел на электроцентральный. Сердце его радостно забилось, когда он проходил мимо сборочного цеха. Он вспомнил, как еще несколько десятков дней назад тут была пустая площадь, заваленная ломом, покрытая тучами пыли.

Серые, мокрые от дождя стены гиганта тянулись вдоль берега реки Черной. В широкие раскрытые ворота вбегала из степи железнодорожная колея. Гарайчук оставил Шульгу; тот спешил в цех.

— Как дела? — спросил Гарайчук, пожимая руку старому мастеру.

Степан Шульга разгладил усы и довольно усмехнулся.

— Видишь, сдержали свое слово, — сказал он и указал рукой на цех. — Это еще не все. Мы еще покажем, на что способны... Знаешь, парторг, что я тебе скажу: пришел я нынче утром на работу, глянул на цех, и петь захотелось. Точно сегодня и Украина ближе ко мне стала...

Старый Шульга с силой сжал кулак и погрозил кому-то невидимому там, на западе:

— Погодите, душегубы, погодите...

— Твоя правда, — ответил Гарайчук. — Украина теперь ближе к нам, ведь и победа ближе. А помнишь, старый, как ты жаловался, что оружия нет?

— Не понимал. От злости все затмилось...

Гарайчук и Шульга еще постояли молча возле цеха, всматриваясь в широкую степь, открывавшуюся сразу за рекой.

Из-под фуражки у Шульги выбились седые волосы. Холодный ветер забирался под ватник. Глаза его точно льдинками затянулись.

— Зима скоро. Немца нетерпячка берет. Как очумелый, лезет. Москву хочет забрать.

— Москву отдавать нельзя, — сказал Гарайчук.

— Не отдадим! — твердо и сурово ответил Шульга. — Не отдадим. Никогда! — повторил он. — Наш завод тоже Москву защищает. Товарищу Сталину телеграмму послать надо. Слово свое сдержали...

— Пошлем. Обязательно, — ответил Гарайчук. — Мы уже договорились — митинг созовем.

— Это хорошо, — одобрительно кивнул Шульга. — Ну, пора итти. Бывай здоров.

На прощанье Гарайчук вспомнил:

— Степан Степанович, там на тебя корреспондент жалуется. Говорит, не хочет товарищ Шульга рассказывать, как рекорд поставил, как четыреста пятьдесят процентов за смену дает. Ты уж, пожалуйста, расскажи ему.

Старый мастер беспомощно развел руками.

— Что рассказывать? Ходит за мной по пятам и все спрашивает. Вы, говорит, герой. Вы — фронтовик. О вас вся страна должна знать. А я ему отвечаю: «Ступай ты, хлопец, ко всем чертям. Герои на фронте, кто смерти в глаза смотрит. Не болтай зря...» А он все не отстает... Расскажите, как четыреста пятьдесят процентов плана выполняете, — и все! Вот прицепился!

— А ты бы ему, Степан Степанович, все-таки рассказал, — ласково сказал Гарайчук. — Разве ж не пофронтовому работаешь? Прочитает в газете Гордей, как батяня в тылу работает, порадуетя.

— Ладно. Придется, видно, рассказать, — согласился Шульга и, засмеявшись, переступил порог цеха.

Гарайчук свернул направо и перешел по мосту на противоположный берег реки.

В комнате дежурного инженера в контрольной башне перемишки Гарайчук застал Михайловского и Стецюка. Инженеры стояли перед мраморными серыми досками, на которых чернели рукояти выключателей. Под выпуклым стеклом манометров дрожали синие стрелки. Гарайчук сел за стол, чтобы не мешать инженерам. Четыре окна в стенах комнаты открывали взгляду восток и запад, север и юг. Сквозь большие, высокие, почти во всю стену, окна видны были и заводские

цехи, и степь, уходящая за горизонт, и железная дорога, теряющаяся в степи.

Гарайчуку приятно было сидеть за белым, свежескрашенным столиком, вслушиваться в ритмическое монотонное гудение контрольных электроприборов.

Столик стоял посреди комнаты, и, сидя за ним, можно было одновременно видеть и сборочный цех и перемышку.

— Хорошо у вас тут, товарищи, тихо, — сказал Гарайчук.

Михайловский закрыл сеткой мраморный пульт, запер на ключ и отдал ключ Стецюку.

— Значит, из рук в руки. Понимаете, товарищ Стецюк, из рук в руки.

Стецюк положил ключ в карман.

Они сели на такие же белые, как стол, стулья напротив Гарайчука. Никому не хотелось говорить. Такое молчание всегда свойственно людям, которые, пройдя долгий трудный путь, наконец получили короткий отдых и радуются ему.

Гарайчук смотрит на усталое лицо Стецюка. «Работающий парень», думает он.

А у Миколы Стецюка в мыслях письмо, которое он получил вчера. Письмо от девушки Вали. Разве может он хоть на миг забыть это страшное письмо? Он еще не знает, хорошо ли он поступает, но ему кажется, что так будет легче: он показывает письмо Гарайчуку и Михайловскому. Они внимательно прочитывают письмо. Микола не ждет от них утешения. Но теперь ему, кажется, на самом деле стало легче...

— Первое дежурство ваше, товарищ Стецюк? — спрашивает Гарайчук инженера.

— Мое.

— Большое дело доверили вам...

— Я понимаю, — тихо отвечает Микола Стецюк.

Михайловский вопросительно смотрит сквозь очки, не понимая, к чему клонит парторг.

— Так ничего и не знаете о своем отце? — спрашивает вдруг Гарайчук.

— Нет, — покачал головой Микола Стецюк. — Да, сказать по правде, я не интересуюсь. Считаю, что не было у меня отца.

Он сказал это тихо, спокойным голосом, точно речь

шла о чем-то второстепенном. И только по уходе Гарайчука и Михайловского он несколько взволновался, вспомнив этот вопрос. Неужели люди еще могут связывать его с человеком, который стал чужим ему и всей его семье?

Неторопливо тянулись часы дежурства, наполненные монотонным гудением контрольных приборов, ревом турбин, перестуком колес вагонов и отрывистыми гудками паровозов.

Уже сумерки окутывали степь, а Микола Стецюк все мерил беспокойными шагами пространство комнаты вдоль и поперек, то и дело поглядывая на контрольные приборы.

Никогда никто за последние годы не спрашивал его об отце. Вопрос Гарайчука обеспокоил его. Чем дальше, тем все больше он волновался. Сменившись, он не пошел домой, а стал разыскивать Гарайчука. Он чувствовал, — пока не поговорит с парторгом, не успокоится. Гарайчука он нашел в парткоме.

— Садитесь, — радушно пригласил его парторг.

— Товарищ Гарайчук, — сразу же начал Стецюк, едва опустившись в кресло, — я не мог не притти к вам. Я хотел поговорить.

Микола волновался, ему трудно было говорить.

— Вы спросили меня об отце. Я — кандидат партии. Я хотел... Я не мог оставить без внимания ваш вопрос. Вы понимаете меня?

Гарайчук, наклонив голову, внимательно слушал.

— И вот я хочу сказать вам, товарищ Гарайчук, просто, как другу, мне трудно об этом говорить, но я должен. Поймите меня: ваш вопрос болезненно затронул меня. И я хочу знать, пусть это не покажется вам смешным, я хочу знать, — Микола Стецюк с силой сжал край стола, — я хочу знать, — повторил он: — верите вы мне?

— Верю, — твердо ответил Гарайчук и посмотрел открытым долгим взглядом в глаза инженера.

— Так вот, — тихо сказал Микола, — знайте: у меня нет отца. Я проклял его еще в ту ночь, когда он, как вор, обесчестил самое имя, которое я ношу. Как злой сон, прогнал я от себя всякую память о нем. И вся семья моя также...

— Знаю. И спросил я вас, товарищ Стецюк, не для

того, чтобы обидеть, а для того, чтобы в суровый и ответственный час острее была ваша ненависть... Я рад, что вы пришли ко мне. Идите и спокойно отдыхайте.

Гарайчук крепко пожал руку Стецюку и проводил его до двери.

Домой Микола шел, уже успокоенный. Только тоскливо сжалось сердце, когда из грузовика, прогрохотавшего по шоссе, донеслись слова песни:

Ой, Морозе, Морозенку, ти славний козаче!
За тобою, Морозенку, вся Україна плаче..

У входа в дом, где он жил, Микола Стецюк заметил какого-то человека в длинном плаще с поднятым капюшоном. Человек прижимался к стене и, должно быть, ожидал кого-то.

Микола Стецюк внимательно посмотрел на неизвестного и толкнул дверь. Не знал он, что человек в плаще еще долго стоял у стены, а потом, точно решившись, подошел к двери, тронул ее, потом вдруг отнял руку и, ускоряя шаги, исчез за углом дома.

...Гарайчук еще долго сидел в тот вечер в парткоме. Он писал статью в местную газету об окончании восстановления завода.

В тот же вечер телеграф принес в Москву радостную весть о досрочном завершении строительства и монтажа гиганта — сборочного цеха.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Профессор Бухштадт продолжает частную практику на новом месте

Конец осени в городе Н. отмечен морозными утрами, когда лютые ветры кружатся по улицам, поднимая столбы пыли. Они прилетают с севера, эти холодные ветры-бродяги, и по ночам хозяйничают на крышах деревянных домов в глухих улочках, назойливо дергают ставни.

Профессор Карл Карлович Бухштадт просыпается среди ночи и, откинув одеяло, садится на постели. Он сидит, прислушиваясь к скрипу ставен, шевеля губами, вглядывается в густую тьму, стоящую в комнате. Резкий храп работницы долетает из кухни.

Проснувшись в эту ночь, профессор не вспоминает, как всегда, ни Кнева, ни своей большой комфортабельной квартиры. Он думает совсем об ином. Именно о том, что заставило его пренебречь сном, таким нужным и важным для здоровья.

На тихой улице, где не только телега, но даже прохожий встретится редко, где палая листва тополей стелется под ноги золотыми дорожками, профессор Бухштадт выбрал себе маленький домик под зеленой железной крышей. От улицы дом отгорожен высоким забором. Справа от калитки белая табличка: «Профессор К. К. Бухштадт. Прием по понедельникам и пятницам от 2 до 6 часов дня». Слева другая табличка, поуже: «Осторожно. Во дворе злые собаки». А между табличками узкая прорезь с надписью: «Для писем и газет».

Профессор — известный терапевт. В городе Н. его встретили радушно. Местный заведующий отделом здравоохранения довольно пожимал ему руку и пригласил консультантом сразу в три поликлиники. В горсовете профессору помогли подыскать квартиру, — на тихой улице, небольшую, отдельную. Он был доволен.

Спустя некоторое время, когда профессор отдохнул после длительного переезда, или, как он говорил иногда, после бедствий эвакуации, он открыл частную практику. Именно тогда на калитке появилась вышеупомянутая табличка с указанием дней приема. В другие дни профессор ездил в поликлинику на извозчике. На узком сидении одноконной брички еле умещалась его дородная фигура. Подслеповатая кляча вяло перебирала ногами по сбитой мостовой. Скрестив руки на трости, профессор озирался по сторонам из-под надвинутой на брови черной шляпы.

В короткое время слава о профессоре распространилась среди обитателей города. А он, как год назад, как десять лет назад, размеренными, заученными движениями выстукивал людей, заставлял кашлять, дышать, приседать, глядел подозрительно сквозь большие, в роговой оправе очки в лица больных и, безошибочно определив причину заболевания, прописывал лекарства.

День за днем профессор Бухштадт привыкал к новому городу и к новому образу жизни. Долгое время он жил одиноко. Кроме больных, работницы, привезенной

из Киева, и киоскерши, у которых он каждое утро покупал газеты, он почти ни с кем не общался.

Постепенно завелись знакомства. Местный врач-терапевт, шестидесятилетний старик, уже тридцать лет безвыездно проживавший в городе Н., стал частым гостем Карла Карловича. Правда, сначала доктор Мефодий Кириллович Тушнов с некоторой неприязнью относился к Бухштадту. Появление профессора несколько затмило его авторитет, до того считавшийся в городе непрекаемым. Но профессор многих больных отсылал к Тушнову, подчеркивая не раз в своих беседах с врачами поликлиники, что Тушнов — прекрасный терапевт.

С гостем Карл Карлович пил чай, играл в безик и обсуждал международные события. При этом он больше молчал и внимательно слушал многословные комментарии доктора относительно деятельности европейских кабинетов и министров. Иногда он спрашивал Тушнова о городе, о населении, о его обычаях и с большим интересом слушал долгие рассказы своего коллеги.

В трех комнатах под зеленой крышей было уютно и спокойно. Домик за высоким забором напоминал тихую пристань, где можно было переждать шторм.

Сидя в удобном кресле-качалке, укрыв ноги пледом, Карл Карлович читал газету, а иногда просто так, скрестив на груди руки, смотрел из окна в сад. Обнаженные ветви деревьев терзал ветер. Вороны бродили по грядкам. В садике была тревожная, обычная русская осень. Профессор Бухштадт любил эту осень.

Никто и ничто не нарушало его спокойствия. Незаговорчивая работница безмолвно подавала завтрак, обед и ужин, убирала в комнатах, впускала больных, запирала за ними дверь, молча выслушивала распоряжения профессора и, как призрак, исчезала, чтобы исполнить его распоряжения.

В поликлинике профессор всегда бывал весел и приветлив. Его дородную фигуру с трудом облегал белый халат. Сестре, которая перед приемом подавала и завязывала ему на спине халат, он каждый раз шутливо говорил:

— Ох, милая, ох, душечка, не так тесно — задушите. Я от своих единокровных братьев-немцев, чума их задави, спасся, а вы, сестричка, собираетесь задушить старого профессора.

В эвакуированном институте профессору предложили прочесть курс лекций. Он отказался, ссылаясь на большое сердце и переутомление.

Ректору, любезно улыбаясь, сказал:

— Мне, батенька, хочется для Киева своего силы сберечь. Выгоним оккупантов, вернемся, тогда снова подымусь на кафедру.

Так жил профессор Карл Карлович Бухштадт в городе Н.

Жил спокойно, одиноко, как и надлежит человеку его возраста и характера. Дважды приезжал к нему племянник из далекого сибирского города. Племянник навещался проездом по дороге в Москву и на обратном пути. С племянником профессор проговорил и первый и второй раз чуть ли не целый день и целую ночь. К обеду пригласил также своего нового друга, Мефодия Кирилловича. Они выпили втроем бутылку терпкого кавказского вина «Напареули», которое племянник привез дяде.

— Пейте, — угощал он настойчиво, — пожалуйста, пейте. Вино настоящее, довоенное.

Приезды племянника были теми событиями, которые в какой-то мере изменяли привычный уклад жизни профессора. Проводив племянника на вокзал и расцеловав его на перроне, он возвратился в свой дом и опять включился в обычный, твердо установленный распорядок жизни.

Иногда профессор среди дня или вечером гулял. Он любил людные улицы. С любопытством следил за людьми в магазинах, возле кинотеатров, прислушивался к разговорам, слегка наклоняя набок голову.

Как уже упоминалось, профессор иногда просыпался среди ночи. Осенние ветры беспокоили его мирный сон. Он сидел в постели и прислушивался. Стоны ветра и скрип ставен тревожили его. Он вставал с постели, зажигал свечку. Накинув на плечи халат, садился за стол.

В эту ночь профессор не спал до рассвета. Работница открыла ставни и впустила в комнату утро. Профессор посмотрел на календарь. Воскресенье. День неприемный. Он позовет обедать Тушнова. Выпил стакан теплой воды и пошел в столовую. Сел за стол, на котором уже был приготовлен завтрак. Отрывисто прозвучал звонок в передней. Работница отперла. Короткий

диалог между нею и тем, кто звонил, донесся до профессора. Новоприбывший очень нездоров и просит профессора принять его, несмотря на неприемный день.

Работнице, появившейся на пороге и сообщившей то, что ему уже было известно, профессор сказал:

— Хорошо, пусть подождет.

Профессор завтракал. Неторопливо, размеренными движениями намазывал куски хлеба маслом, накладывал сверху ломтики сыра и маленькими глотками пил вкусный кофе. К яичнице он не притронулся. Она остывала на столе. Сало, застывая на сковородке, покрывало ее синей пленкой. Карл Карлович посмотрел на яичницу, точно раздумывая — есть или не есть, махнул рукой и встал. Несколько времени стоял у стола, поглядывая на дверь в соседнюю комнату, где ожидал его непрошенный гость. Из-под нависших седых кустиков бровей пронзительно глядели сквозь очки острые глаза профессора. Тщательно подстриженная бородачка закрывала узел галстука. Черный домашний люстриновый пиджак ловко охватывал полные плечи профессора.

Профессор откашлялся. Вытер усы салфеткой. Скатал ее в трубку, вложил в серебряное кольцо и отодвинул кресло.

— На что жалуетесь? — спросил сразу профессор, перешагнув порог и, плотно закрывая за собой дверь, только одним недовольным кивком головы ответил на поклон пациента.

Митрофан Игнатьевич Мякишев, поднявшись с кушетки, стоял перед Карлом Карловичем Бухштадтом, с нескрываемым любопытством вглядываясь в его сердитое лицо.

Ни один мускул не дрогнул на лице профессора. Не подавая руки Мякишеву, точно видел его впервые, профессор обошел письменный стол и опустился в глубокое кожаное кресло.

Мякишев стоял в ожидании. Профессор выдвинул ящик, покопался в нем, потом, достав из него чистую стопку рецептурных бланков, положил перед собой.

— Я слушаю, — сердито проговорил он, обращаясь к Мякишеву. — На что жалуетесь?

Мякишев удивленно поглядел на него и уже собирался сказать, чтобы почтенный профессор оставил эту игру. Но в этот миг взгляд его встретился с холод-

ными, острыми глазами профессора; в них он прочитал суровое, непререкаемое требование — и подчинился.

— Сердце, — сказал тихо Мякишев, чувствуя в самом деле, как замирает и болезненно сжимается у него сердце.

— Разденьтесь!

Мякишев послушно начал снимать пиджак. И, как два года назад в Киеве, он стоял полуголый перед профессором, а тот неторопливо ходил вокруг него, мягкими холодными концами пальцев касаясь его тела и что-то бормоча себе под нос.

— Лягте, — указал профессор на кушетку. — Как желудок?

И прежде чем Мякишев успел ему ответить, наклонился и, четко выговаривая каждое слово, тихим голосом проговорил:

— Струсили. Держитесь смело. Недолго ждать наших. Сборочный цех надо вывести из строя. Взорвать перемычку невозможно. Это мы знаем...

Пальцы профессора тем временем обшаривали живот, копошились под ребрами. Тяжесть неизвестности ложилась на сердце Мякишева. Он тяжело переводил дыхание.

— Приказ изменен... — продолжал профессор. — Надо выключить щиты перемычки...

— Это невозможно, — простонал Митрофан Игнатьевич.

— Приказ — выключить и затопить цех, — настойчиво повторил профессор, еще ближе придвигая свое лицо к Мякишеву, проникая холодным взглядом в его глаза. — Вы научите Иванченко, как это сделать. Только в этом и заключается ваша обязанность. Ключ к контрольному шкафу он добудет. Пусть обратится к сыну. Мы разрешаем. Во вторник ждем исполнения. Все!

Пальцы профессора в последний раз пробежали по впалому животу Митрофана Игнатьевича. Профессор откинулся на спинку стула и посмотрел на Мякишева каким-то совсем чужим, безучастным взглядом. Снова сухо и раздраженно звучал его голос:

— Покой нужен вам, батенька. Покой. Нервы у вас... нервы.

И профессор нагнулся над столом и стал что-то писать на узеньком листке.

— Возьмите, — протянул он Мякишеву. — Будьте здоровы.

Мякишев растерянно смотрел на Бухштадта. Ему хотелось крикнуть что-то тяжелое и обидное этому человеку, который играл им, словно кот мышью.

Митрофан Игнатьевич положил на стол смятую пятидесятирублевку и вышел из кабинета.

Неслышными шагами вошла работница со щеткой в руках. Подмела невидимую пыль, взяла деньги со стола, спрятала в ящик и исчезла.

Карл Карлович Бухштадт стоял у окна, опершись руками на узкий подоконник. Он видел, как сутулая фигура инженера Мякишева остановилась у калитки, как неверными руками искал он щеколду, нашел, толкнул калитку и вышел на улицу.

Лениво пробежал по дорожке дворовый пес. Длинный хвост, облепленный репейниками, волочился по земле.

— Низкая тварь, — с отвращением проговорил профессор, отворачиваясь от окна. И неизвестно было — относятся его слова к Мякишеву или к собаке.

В тот день после обеда Карл Карлович решал сложную шахматную задачу. Черные пешки неумолимым кольцом окружали ладью. Профессор довольно притопывал ногой в мягкой удобной туфле. Но вдруг рука, державшая коня, повисла в воздухе. Ему показалось, что кто-то стоит за его спиной. Он вздрогнул, оглянулся. Конечно, в комнате никого не было. Профессор засмеялся. Но и звук собственного смеха раздражал. Тогда он резко отодвинул столик с шахматами и глубже уселся в кресло. Он опустил веки. Он видел узенькие улицы хмурого далекого города, темные стены домов с высокими острыми крышами, чугунные памятники с каменными загадочными лицами в аккуратных скверах. Никогда раньше он этого не вспоминал. Гнал от себя самую мысль об этом. Жил годы, десятки лет, спокойный, уравновешенный, в городе с садами, в городе, стоявшем на берегу величественной реки, забыл хмурые улицы и невеселые дома. Был малоизвестным врачом. Постепенно выбивался в люди, добился своего. Пережил две революции. Они прошли мимо него, ничем не затронув: слава оставалась за ним. Его знали за пределами города. Научные работы его печатались в евро-

пейских журналах. К нему обращались люди из Европы. С его диагнозами считались, как с непреложными выводами.

Удобно сидеть в глубоком кресле. Вспоминать. Думать. Осень на улицах города Н. бушует ветрами. Тоскливо воют ветры за окнами профессорского домика. Что-то беспокоит Карла Карловича. Он еще не может определить, что именно, но чувство это остро и неослабно; оно беспокоит и волнует его. Надо держаться. Надо сохранять спокойствие и уверенность. Будет день — он войдет в обширный зал здания в Берлине, как победитель. Чиновники и министры встретят его низким поклоном...

Осень бродит за окнами тихого домика на окраине города Н. Седые, снежные тучи обложили небо.

На сердце у профессора Бухштадта впервые за много лет беспокойно. Глухая стена неизвестности надвигается на него.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Краткая справка о портфеле желтой кожи

У каждого человека своя биография. У каждой вещи своя история. Обыкновенному портфелю желтой кожи выпала необычная судьба. И это вынуждает автора обратить на него внимание читателя.

Еще в июне 1938 года портфель желтой кожи, размером двадцать восемь на тридцать шесть сантиметров, с двумя металлическими замками и запасным ключиком на цепочке, лежал в витрине магазина фирмы «Добровольное общество Якоб Борах и сыновья» в городе Гданске, на Зеленой улице.

Портфель понравился адвокату, который только что начинал практику. Адвокат, не задумываясь, приобрел портфель. Больше года портфель был собственностью молодого адвоката и пользовался его заботой и вниманием. Хозяин не перегружал портфель бумагами и папками. И потому он выглядел таким же новеньким, как и год назад. Адвокат был спокойный, рассудительный человек. Он был убежден — портфель желтой кожи, несомненно, прилавал солидность его особе.

В конце сентября 1939 года в квартиру адвоката явился немецкий офицер и два солдата. Офицер сел за стол, как хозяин. Адвокат стоял бледный от злобы и страха. Офицер курил адвокатскую сигару и наблюдал за порядком конфискации адвокатского имущества, которое отныне, в связи с включением города Гданска в великое немецкое пространство, уже принадлежало не адвокату, а Третьей империи. В число вещей, подлежащих конфискации, был включен и портфель. Солдат вытряхнул из него бумаги. Дело пани Дворжак по иску к ее жильцам легло веером на полу. В мрачной комнате комендатуры писарь вписал портфель на одну из страниц длинного реестра конфискованных вещей. Теперь он значился там под № 19164 и лежал на полке кладовой, прижатый подсвечниками и часами фирмы «Лонжин», которые также стали собственностью Третьей империи.

Офицер гестапо герр Шмальц, в чьи обязанности входило проверять ретивость чиновников, осуществлявших конфискацию, посетил комендатуру через час после того, как портфель попал на полку кладовой № 4.

Офицер пользовался славой придиры и рвача. Первое помогало ему служить великой Германии, второе—себе. Глаз у офицера был наметанный. Снайперский глаз. Эту особенность знало его начальство. В Праге подполковник Грюн, посылая офицера произвести обыск в ювелирной лавке Бубеничка, так и сказал ему: «Герр Шмальц, хорошенько присмотритесь к золотым портсигарам, может быть, ваш наметанный глаз отыщет там что-нибудь подозрительное». Лейтенант Шмальц щелкнул каблуками. Он отлично понял своего начальника. Карман герра Грюна на следующий день оттягивал массивный золотой портсигар.

В кладовой, где лежали конфискованные вещи, герр Шмальц чувствовал себя, как рыба в воде. Портфель желтой кожи попал ему на глаза. Писарю он приказал выяснить, кому принадлежал портфель. Услышав ответ: адвокату, герр Шмальц заинтересовался реестровым номером. Он приказал вычеркнуть портфель из реестра. Писарь безмолвно выполнил его приказание. Подсвечники и часы фирмы «Лонжин» тоже заинтересовали герра Шмальца. Он велел положить их в портфель.

Портфель желтой кожи таким образом стал собственностью герра Шмальца, лейтенанта корпуса штурмовых отрядов «СС». Инструкция рейхсмаршала Геринга о возмещении потерь Германии, понесенных ею в мировой войне 1914—1918 годов, предопределяла судьбу портфеля, обращая его в собственность той же великой Германии. Но инструкция ничего не говорила касательно ограничения прав лейтенанта Шмальца, который с точностью часового механизма выполнял ее.

Спустя некоторое время герр Шмальц поехал в Берлин. Портфель желтой кожи последовал за ним. Он лежал на чемодане распухший. Прошли для портфеля времена, когда его первый владелец, адвокат, оберегал и холил его. Теперь, вместо тоненьких папок с судебными делами, он был переполнен чулками, шоколадом и галстуками.

Герр Шмальц имел в Берлине друга—герра Кленфендаля. Кленфендаль был выше чином. Но это не мешало герру Шмальцу быть удачливее.

Перед Кленфендалем герр Шмальц хвастал своими победами в Гданске. По сузившимся глазам майора он понял, что перехватил. Тогда он решил быть щедрым и великодушным. Майор Кленфендаль стал владельцем портфеля желтой кожи.

Долго портфель лежал без движения в ящике письменного стола в квартире майора, рядом с альбомами порнографических открыток и ампулами морфия: служебная инструкция запрещала носить с собой какие бы то ни было бумаги.

В июне 1941 года майор выдвинул ящик и взял портфель.

Вскоре он был наполнен разными важными бумагами. Беря их в руки, майор оглядывался по сторонам. Потом в портфеле очутилась «зеленая папка» рейхсмаршала и двенадцать ампул морфия. Портфель еще раз побывал на родине. Он странствовал по Польше. Майор Кленфендаль крепко держал его в руках. Потом портфель попал на Украину. В Виннице, пока майор веселился в отеле «Савой» с комендантом Брунном, портфель лежал в темной нише, окованной железом, и два вооруженных до зубов солдата оберегали его неприкосновенность.

За городом Казатин в ночь, когда небо над Украиной цвело звездами и изливало месячное сияние на поля и леса, портфель желтой кожи вместе со своим хозяином, майором Кленфендалем, попал в плен к партизанам.

Он долго лежал в землянке, в железном ящике, вместе с другими важными вещами, и охранял их пожилой бородатый партизан Демид Дудко, отец Семена Дудко, бывший председатель колхоза «Шлях социализма», из села Бровары, что под Киевом. Портфель отдыхал после долгих странствий.

На глубине один метр десять сантиметров лежал в земле его бывший владелец, офицер гестапо Ганс Кленфендаль, еще недавно мечтавший о богатствах, какие принесет ему эта земля.

Партизан Демид Дудко затем получил приказ командира отряда перейти линию фронта и доставить портфель желтой кожи законным органам власти той земли, на которую зарился майор Кленфендаль.

Много дней и ночей шел Демид Дудко. Он видел на пути своем море страданий и реки слез. Сердце его сгорало от ненависти и злобы.

Приказ своего командира Дудко выполнил.

Среди документов, лежавших в портфеле, было кое-что, касавшееся профессора Карла Карловича Бухштадта, зоотехника Петра Иванченко, имевшего настоящее имя — Максим и фамилию — Стецюк, и инженера Мякишева, Митрофана Игнатьевича.

Это, по сути, все, что следует знать читателю о судьбе портфеля желтой кожи из магазина «Добровольное общество Якоб Борах и сыновья», помещавшегося на Зеленой улице в городе Гданске...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Яблоко и яблоня

... *И* вот сын стоит перед ним. Смотрит ему отец в глаза своими холодными недоверчивыми глазами.

Суживался круг. Скрещивались пути: Микола Стецюк стоит посреди комнаты, растерянный. Неужели это отец? Неужели это тот, кого он считал

давно погибшим, даже мысль о ком гнал от себя, как какую-то отраву?

Максим Стецюк сидит на стуле возле двери, слегка нагнувшись вперед, готовый каждую минуту подняться.

Игра окончена. Он сказал сыну все. Он пришел к нему в эту темную осеннюю ночь, чтобы доверить ему свою боль и свои надежды. Он рассказал ему о годах скитаний на чужбине. Пусть сын знает, какой у него отец. Теперь праздник не за горами. Осенние дожди поят его землю под Броварами. Она ждет их — отца и сына. Хорошо, что Микола выбился в люди. А мог сгнить где-нибудь в ссылке. Он хитрый, Микола. Отцовский разум у него, а может, он и еще хитрее. Он сделает то, что говорит отец. Непременно сделает. Еще неделя-две — и конец Москве.

Глаза у Максима Стецюка беспокойно бегают; в них и страх, и злоба, и неверие, и подозрительность. Больше всего беспокоит его то, что Микола молчит. Стоит посреди комнаты, как окаменелый. Руки не подал. Слова приветливого не выговорил. Если бы знать, что он думает! Но другого выхода нет. Максим Стецюк исполнил приказ Мякишева. Снова судьба смеялась над ним. Снова ему приказывали и угрожали. Он должен добыть ключ от контрольного пульта электроцентрали.

Мякишев все объяснил, все сказал. Пропуск на башню лежит в кармане. Надо подняться по лестнице, войти в комнату, нож в спину или пулю в сердце дежурному инженеру. Потом отпереть пульт и черную рукоятку повернуть вниз, к земле. Затем открыть окно и спуститься по пожарной чугунной лестнице. И тогда он услышит, как бешено хлещет вода, заливая цех.

Много мыслей роится в разгоряченной голове Максима Стецюка. Разве так следовало встретиться с сыном? Разве такую представлял он себе встречу? Про мать, дочку спросил, а сын молчит. Не рад, что отца увидел. Отказался от отца. Напрасно. Буря пройдет. Войне скоро конец. «Увидишь, сынок, какими хозяевами будем! Не раздумывай. Не бойся. Это ведь последний бой. Чем рискуешь? Я ключ на условное место положу. Возьмешь его, будет лежать у тебя в кармане. Кто узнает? Никто. Зачем так неприветливо встречаешь батьку?»

...Сидит Максим Стецюк, опустив голову. Кто знает, какие неожиданности ждут его? Рука в кармане крепко сжимает револьвер. Безжалостная и страшная мысль настойчиво твердит: «Это не твой сын, не твой, не твой...»

— Молчишь, сынок? — глухо говорит Максим Стецюк.

— Вы мне не отец, и я вам не сын.

Голос у Микола ровный и чужой. Микола смотрит прямо в глаза этому страшному человеку. А он, этот человек, называющий себя его отцом, встает со стула, медленно пятится в сторону двери и вырастает у порога, как страшный призрак.

— Вы мерзавец и продажная тварь. Я жил честно эти годы и буду жить честно...

Сердце Микола бешено бьется. Он с силой глотает душный воздух комнаты. Распахнуть окно одним ударом руки. Пусть дождь и ветер ворвутся сюда.

Кривятся губы Максима Стецюка. Теперь все. Теперь — конец. Можно, пятась, выскочить из комнаты. Исчезнуть. Но ключ? Нет, так Максим Стецюк отсюда не уйдет.

— Молчи, стерва! — злобно шепчет он и выхватывает руку из кармана. Дуло револьвера смотрит в лицо Миколе, приближается к нему.

— Может, сговоримся? Слышишь, сынок? — тихо шепчет Стецюк. — Зачем нам ссориться?

Багровые пятна плывут перед глазами Микола. Тревожно мечутся мысли. Тяжелая, гнетущая тишина на какое-то мгновение наполняет комнату. Только ветер стучит за окнами и шумит дождь.

Микола понимает — этот человек, когда-то бывший его отцом, способен на все. Но стрелять он не осмелится. Он побоится поднять шум. Человек, стоящий перед ним с револьвером в руке, с безумными глазами, был когда-то его отцом. Что-то волчьё в движениях этого человека.

— Бросьте эту игрушку, — твердо говорит Микола.

— Молчи, подлюга! Молчи! — хрипит Максим Стецюк. — Проклинаю тебя всем сердцем моим, душой проклинаю. Я к тебе дни и ночи шел. Я добра тебе желал. Думал, с сыном родным новую жизнь начнем. А ты отца продал..

Злоба душила Максима Стецюка. Втянув голову в плечи и пошатнувшись, он вдруг одним рывком кидается на Миколу и страшным ударом рукоятки револьвера по голове сбивает его с ног.

Он стоит на коленях над лежащим на полу сыном и, раздирая ему губы, впихивает в рот полотенце. Потом связывает другим полотенцем руки и обливает лицо водой. Тоненькая струйка крови ползет по щеке Миколы.

— Где ключ? — спрашивает Максим Стецюк, нагибаясь к лицу сына. — Слышишь? Где ключ?

Микола стонет.

— Скажешь — жизнь подарю. В последний раз заклиная. Слышишь? В последний, говорю тебе.

Он шарит по карманам Миколы своими цепкими пальцами. Подымается на ноги. Ищет в ящиках.

Налитыми кровью глазами следит за его движениями Микола.

Максим Стецюк разбрасывает бумаги на столе, вытряхивает из ящиков тетради и письма. Скрипит зубами от злости. Неужели он не найдет ключа? Как мало времени остается до рассвета!.. Он должен найти ключ. Не может он уйти отсюда без него.

— Слушай, — нагибается он снова к Миколе, — скажи, где ключ! Рукой покажи...

Стоит Максим Стецюк на коленях над сыном. Заглядывает ему в глаза, ищет в них ответа. Но в глазах сына — глухая ненависть и вражда.

— Не скажешь? Нет? — спрашивает он, почти кричит. — Своими руками, своими руками задушу!

Микола чувствует холодные пальцы на своей шее.

— Молчишь? — хрипит Максим Стецюк, все сильнее сжимая пальцы.

Он уже понимает, что Микола ничего не скажет, с пустыми руками придется возвращаться к Мякишеву. Но как убраться из этого проклятого места, он уже и сам не знает. Кто поможет ему, если родной сын отказался, отрекся? Да разве это сын? А еще говорится: «Яблоко от яблони недалеко падает»...

Снова обманули его, Максима Стецюка. Огромное расстояние пролегло между яблоней и яблоком. Даже сама смерть не уменьшит этого расстояния.

И в эту минуту с необычайной ясностью понимает Максим Стецюк, что и ему приходит конец. Никто ему не поможет. Отрекутся. Сами в спину нож всадят...

Внезапно сильный стук потряс дверь. Точно ужаленный, вскочил на ноги Максим Стецюк. Глазами затравленного зверя озирался вокруг. А в дверь стучали все сильнее и сильнее. Максим Стецюк схватил с пола револьвер. Мелькнула еще спасительная мысль. Он кинулся к окну, сорвал штору. А дверь трещала от крепких ударов. Еще миг — и она упадет. Максим Стецюк изо всех сил рвал к себе прибитую гвоздями раму окна. Он сунул револьвер в карман и обеими руками дергал раму.

И когда уже отлетела в сторону рама окна и черная ночь ударила в лицо ему ветром и дождем, дверь с грохотом повалилась, несколько рук схватили его за плечи и в одно мгновение скрутили ему руки за спиной.

Он стоял среди чужих людей, окруживших его, с бледным от страха лицом. Глаза его лихорадочно горели. Он тяжело дышал и стонал. Слезы отчаяния и страха катились по заросшим его щекам. Презрение и ненависть видел он в глазах людей, окруживших его. Он видел, как развязали сына и положили на кровать. Слышал, как застонал Микола. И вдруг глаза его встретились с другими глазами. Этот взгляд как бы просверлил его.

— Ну, вот и встретились, — сказал Семен Дудко, постукивая палочкой и приближаясь к Стецюку. — Долгонько искал я тебя. Долгонько...

И тогда, уже не владея собою, Максим Стецюк упал на колени и закричал по-звериному, протяжно:

— Не губите! Смилуйтесь! Все, как есть, расскажу... Все...

— Молчи, — оборвал его Семен Дудко. — Молчи! — грозно повторил он. — Спросим, тогда скажешь. А теперь не вой. Не обманешь.

Казалось, крик Стецюка вернул Миколу сознание. Он раскрыл глаза и увидел над собой встревоженное лицо Гарайчука.

— Он, — прохрипел Микола, указывая глазами на Максима Стецюка.

— Знаю, — ласково ответил Гарайчук. — Все знаю. И пожал Миколу руку...

Вместо эпилога или пролога к новой книге, в которой читатель еще встретится с моими героями.

Так творится дума

III

роста двадцать три года назад хорольского казака Дениса Недригайло взяли в плен враги. Сказали пленнику, схваченному в неравном бою: «Укажи, воин, дорогу к казачьему стану. Покажи дорожку, как в плавни пробраться. Проведешь — тысячу дукатов червонных получишь, коней борзых дадим, замок тебе над Бугом построим, шляхетным род твой по закону объявим».

Молчал пленник Недригайло. Словом не обмолвился. Не согласился. Пытали враги казака, подлещивались, уговаривали. Сказали наконец, обессиленные казачьим упорством: «Даем одну ночь тебе. Подумай хорошенько. согласишься — жить будешь, не скажешь — на кол».

Всю ночь не спал казак Денис Недригайло. Слушал, как над Клуней гуляет ветер. Думал о своем далеком Хороле. Видел темные глаза красавицы, нареченной своей. Перелетел мыслью в широкие таинственные плавни. Там, на островах, готовились к новому походу братья его — казаки.

Перекликалась стража возле клуни. Звенели сабли. — Слушай! — испуганно кричал один.

— Слушай! — отзывался другой тревожным голосом.

Среди ночи снова пришли вражеские ватажки. Принесли жбан меду. А старший саблю дорогую положил.

— Мы тебя, казак, уважаем, — сказали Недригайло. — Наслышаны мы о твоей храбрости, верим твоему разуму. Добровольно не поведешь, дороги не укажешь — погибнешь в лютых муках, а висельников-повстанцев все равно найдем... Думай, казак. Думай добре. До восхода солнца немного осталось.

Ушли душегубы. Молчал Денис. Лишь под утро смежил глаза. Видел степи широкие, шляхи далекие. Огонь глотал мирные тихие селения, подожженные коварным врагом, торчали на кольях челоуечьи головы, горела в глазах предсмертная тяжкая мука.

Взошло солнце. Умылась росой земля. Отпели петухи. Раскрылись двери клуни. Вошли толпой враги-палачи.

— Ну, казак, говори: отважился на доброе дело?

— Эге ж, — кивнул головой Недригайло. — Отважился.

И, точно собираясь подняться, чтобы указать дорогу врагам, откинул свитку, которой был укрыт до пояса. И, глянув, палачи окаменели от страха, удивления и злости.

Лежал на окровавленной соломе казак Денис Недригайло с отрубленными ногами.

Сам себе саблей отрубил казак ноги.

Было то триста двадцать три года назад. Сколько воды после того в Черное море утекло! Сколько рек высохло! Сколько поколений вымерло! И сколько народилось! Сколько крови пролил, Украина, твой народ за волю твою! Звенели про тебя бандуры и пели кобзари. Седые деды несли в века славу твою, Украина. Низко склони голову перед светлой памятью кобзарей твоих. Спасибо скажи им, мудрым и неумирающим. Добрые зерна посеяли кобзари. Буйным урожаем всходит посев.

Много лет пронеслось. Через триста двадцать три года по смерти казака Дениса Недригайло его праправнучку Евгению Высокос тоже полонили враги. Не посчастливилось ей в плавнях. Самый лютей и самый хитрый палач, лейтенант охранных отрядов «СС» Франц Штильганс не узнал в ней партизанки. Беда стряслась с ней в плавнях. Прямо на засаду наскочила она с дедом Оверко, который перевозил ее в челне.

Дед Оверко тут же пал мертвым от немецкой пули. А Евгению взяли живой. Скрутили руки, искривили лицо. Привели, обессиленную, к лейтенанту. Христю повесили перед окнами школы. А Евгению сначала уговаривали: укажи дорогу к партизанам — жить будешь. Евгения молчала. Ей прикладывали к груди раскатанное железо. Забивали под ногти иголки, били резиновой палкой по пяткам. Сорвали одежду и нагой выгнали из хаты. Стояла под дождем измученная, истерзанная, равнодушная. Все в ней было уже мертво. Только мысль жила. Подкашивались ноги. Падала лицом в жидкую, холодную, осеннюю родную землю. Солдаты поднимали, били прикладами, кричали:

— Halt! Ukrainische Schwein!

Ночь была бесконечная... Евгении уже ничто не было страшно. Мысль жила. И мысль была бессмертна. Она переносила ее в прошлое и в будущее.

Евгения видела Марка, Игоря. Муж и сын стояли рядом. Они были с ней, под дождем и ветром, в эту осеннюю ночь.

Видела себя Евгения голубоглазой, русокозой, на высоком половецком кургане под Дубовкой. Рядом был Марк, стройный и сильный. Гудели вешние ветры над Дубовкой. Новые дни рождались над Днепром-Славутой. Сердце неудержимо билось в груди. Открывало заветные ворота жизни.

Шумит дождь. Воеет осенний ветер. Знает Евгения, что на рассвете ее убьют. Не видеть ей больше ни Марка, ни Игоря, ни Славуты-Днепра, ни золотого Киева...

Земля ускользает из-под ног. Враг в каске, с автоматом в руках, стоит над Евгенией.

— Halt! — по-собачьи лает он...

Немец приказывает. Немец с автоматом. Разве он хозяин? Разве это не моя земля? Моя осень, мой дождь, мои ветра. Он уйдет в небытие, истлеет в земле, этот немец.

Евгения смеется. Открыто, громко. Стоит на ветру, под дождем и смеется Евгения Высокос. Немца трясет лихорадка. Немец отступает на шаг и нацеливается в нее из автомата.

— Zurück!

Но Евгения смеется еще громче. «Шуты, — думает она затихая. — Я умру, но земля моя не станет вашей. И ветра будут петь только мне».

Марк и Игорь стоят рядом. Они с нею под дождем в эту зловещую ночь. Она не одинока.

Евгения вспоминает рассказ отца про предка своего, Дениса Недригайло. Разве думала она когда-нибудь, что судьба Недригайло будет ее судьбой?

Она ведет с ним немую беседу, со своим предком, доверяя ему свою тоску, свою боль.

Украина! Стоит под дождем бессмертная дочь твоя, Евгения Высокос. Стоит твердо, как скала, негибаемая и непокоренная.

Украина! Украина! Вечна ты в веках, и непобедим народ твой.

Человек в серой шинели солдата, с сердцем, в котором живет вечная дума твоих кобзарей, думает о судьбе твоей, Украина!

Он живет твоей болью, и скорбит твоей скорбью, и готовит победу для тебя, и острит для нее мечи. Ты воспела в думах этого человека. Ты назвала в одной песне этого человека кузнецом, кующим мечи для твоей победы.

Славь же в песне силу и мудрость этого человека, Украина!

Славь оружие, кующее победу!

Украина, ты знаешь — взойдет солнце и будет победа.

Сорок миллионов детей твоих, Украина, произносят, как клятву, имя человека, кующего победу.

Они говорят:

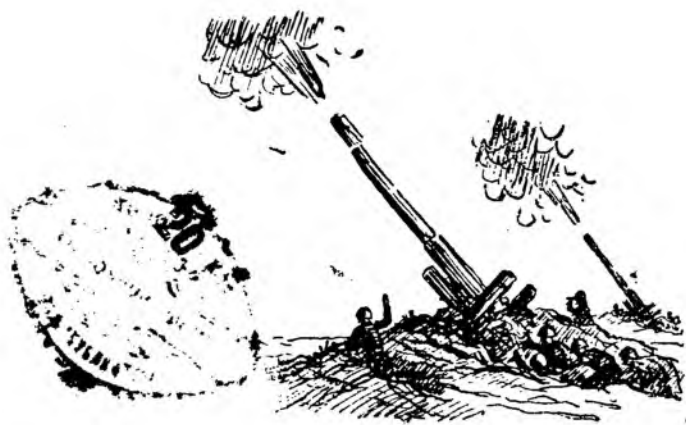
— Сталин!

И знают: Сталин — это свобода и победа!

— Сталин! — с надеждой и верой произносит Евгения Высокос в осеннюю ночь 1941 года.

И сквозь завесу зловещих туч видит Евгения Высокос, как на востоке призывным парусом уже подымается и пламенеет грядущий светлый день.

Апрель 1942 года



Цена 7 руб.